

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ • ЛЕТО 1925 ГОДА •

Н·О·В·О·С·Т·И
РУССКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ЛЕТО

1 9 2 5

ГОДА

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“ 1926

ЖР



3-я ТИПО-ЛИТОГРАФИЯ

«ТРАНСПЕЧАТИ»

Москва, Дмитровский, 9.

ГЛАВЛIT № 60312

ТИРАЖ 5000 экз.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

ЛЕТО 1925 ГОДА

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
„К Р У Г“
1926

Летают сны мучители
Над грешными людьми,
И ангелы-хранители
Беседуют с детьми.

Лермонтов.

МОЕ ЗАПУСТЕНИЕ

Все дело в окурке, в жирном окурке, лежавшем на мостовой возле остановки автобуса „FA“. Однако, для того, чтобы стала понятной эта история, необходимо упомянуть о многом: о традиционной духоте парижского лета, о толстяке — хозяине отеля на бульваре Монпарнас, о некоторых запахах, наконец, о всей слабости человеческого естества.

Мне чрезвычайно трудно писать. Это может показаться кокетством. Ведь „плодовитостью“ моей промышляют все литературные остряки. Да, конечно! Если б это был роман с планом, с интригой, с выдуманными героями, которые в меру заняты, в меру безразличны, как соседи — жалеешь их, видите ли, флюс или меланхолия, порой ворчишь от чада сплетен и самоваров, сам сплетничаешь, а уедут, а умрут — что же, бог с ними! Роман написан и сдан издателю. Если б это было романом! Еще десять печатных листов, еще столько-то промотанной зря

фантазии. Но ведь мне надлежит написать сейчас не роман, нет, сухой и точный отчет, о, скажу сразу, прескверных событиях этого лета. Оправдываться перед счастливой четой не приходится, — в таких случаях всегда предпочтительней поднести солидный письменный стол (из орсха) или хотя бы каминные часы с боем (скорее всего я остановлюсь на последнем). Требуется привести себя в порядок, чтобы как-нибудь прожить положенное количество лет, поскольку в дело не вмешалась ни судьба, ни полиция. Вот для этого-то лучше всего сделать из себя глуповатого, пожалуй, и трогательного героя, толкуя свежее, еще дышащее теплой испариной отчаянье, как некоторый литературный материал.

Итак, я сажусь за работу. Оказывается, отвыкнуть от ремесла до-нельзя легко. Пальцы вовсе неуклюже укрощают строптивное перо. Все, начиная от бумаги и кончая тупыми деловыми мыслями, — не забыть бы обличить этого субъекта с рыбкой — положительно все отдает кустарничеством. Здесь нет места отбору — сам я оказался подвернувшейся под руку темой.

Я слушаю сейчас, как идет, издалека идет, всю ночь, весь день докучный ветер, этот путник в глухом пальто и без лица. Еще я думаю об Эдди. А выйдет книга или не выйдет — все равно.

С окурка ли началось? Нет, кажется, с отъезда жены. Она уехала в санаторию лечиться. Это было

в порядке вещей. Но это выбило меня из колеи. Присутствие жены принуждало меня жить как-то нейтрально: бриться, хотя бы через день, менять белье, работать, обедать, чтобы было мясное блюдо и десерт, наконец, встречаться с подходящими собеседниками, главным образом с молодыми художниками, которые горячо отзывались о тонах Утрилло, а подкармливались „беспредметными“ шарфами, сбываемыми заезжим американкам. Жена, сама того не подозревая, определяла мое место в мире. На беду отъезд ее совпал с различными денежными затруднениями. Главлит „зарезал“, как говорят у нас, моего „Рвача“. Чехи отказались платить за переводы, ссылаясь на отсутствие конвенций. Вместо банковских чеков я стал, что ни день, получать счета за комнату и еще любовные записки от какой-то престарелой польки, страдавшей базедовой болезнью. В мои сны вошли, таким образом, ее огромные, вполне самостоятельные глаза и неласковый бас толстяка-хозяина. Нескольких слов о нем. Приезжающие, увидев связку ключей в руках и сочную улыбку, обязательно вспоминают апостола Петра. Почему этот толстяк улыбается? Не предвидит, что ли, таких постояльцев, как я? Отель куплен недавно, и раз пять в день (карауля у окна, свободен ли выход, я тщательно изучил это) хозяин переходит на другую сторону, оглядывает паршивый дом, обколупленный

и насквозь пропотевший, любовно оглядываю: здесь рождается улыбка. Там рядом с номерами и сменой белья в потрепанном чемодане, со всей безуютной, горемычной жизнью проезжих людей зрел до-вольство: рай! В раю копошатся клопы, а испор-ченные трубы разряжаются взрывами зловонных газов. Не следует думать, что я роптал. Нет, я так хотел остаться в этом условном раю! Но счет перевалил за восемьсот. Шарканье моих продрак-ных туфель начисто снимало улыбку толстяка. Еще неделю бы!.. „Огонек“ вторично надул меня, не прислав обещанного гонорара. В ломбарде за часы дали ровно столько, чтобы воспринятый нато-щак бифштекс смог позволить оценить всю радость разлуки с этой механизированной совестью, чи-тающей на руке ежесекундные нотации (подчерки-ваю после жены — часы). Толстяк от обиды за гибнущее довольство плевался и (так мне казалось) недобро тучнел. Наверное, стоя на углу, он видел, как я колеблю все пять этажей его любимого строе-ния. Ни записки польки, ни мой вид не могли его утешить. Действительно, не прошло и месяца, а я уж успел основательно опуститься, вместо средней руки литератора напоминая теперь шатуна, из тех, что по ночам, возле значных мест, выклян-чивают у дорогих соотечественников „франчишко“. Все пошло быстро. Протерлись брюки. Молодая французская литература, включая сюда „сюрреали-

стов“, как-то сразу перестала интересоваться меня. Проходя мимо ресторанов, я останавливался. Зеленоватость щек, также нервическис вздрагивания носа выдавали меня. Густая курчавая борода, этот патриархальный орнамент семита, бессмысленный при отсутствии чад и субботней курицы, казалась неуместной порослью на площади заброшенного города.

Опуститься человеку ничего не стоит. Это только возвращение к исконной стихии. При чем я настаиваю на бороде, на позднем просыпании, среди пепла трубки и ключев вычесанных волос в мыльном тазу, на неотвеченных письмах, на желтеньком романе с одной попачканной страницей, с вечной страницей, где героиня, племянница рыжеусого нотариуса, взглянув на букет, подумала... что подумала? Не спрашивайте! Думать — сложно и хлопотливо. Удастся ли выйти из отеля незамеченным? — вот самая сложная мысль. Так распродают по дешевке модные товары, зарастают проспекты, и остановившиеся часы Публичной Библиотеки перестают томить сердца влюбленных правоведов.

Наконец, я сбежал. Утром в последний раз был богомольно осмотрен серафим в красном кепи почтового ведомства. Шуршание его рождало все возможности. Ничего! День разворачивался натошак, среди спертости и провокационных запахов прованского масла, лука, суповых кореньев, булочных

кислот. Под вечер возле кафе „Версаль“ я заметил приличного старикашку в пегом котелке. Человек этот делал вид, что ловит муху, при чем сам за нее жужжал, он кричал „кокорико“, даже на особый лад чихал. Дама дала ему десять су. Меня подташнивало. Я гордо отвернулся, не пробуя даже пожужжать. Вместо того, чтобы итти домой, я свернул направо. Это и было решением. Толстяку остались — датский перевод „Треста Д. Е.“, короткие клетчатые штанишки, купленные зачем-то на Гельголанде, и еще все пять этажей так и не разрушенного мною дома. Я же лишился адреса, то-есть стал подпадать под различные статьи уголовного кодекса республики.

Торопясь скорей дойти до угла улицы Тэтбу и Прованс, где лежал злополучный окурок (о, если бы я никогда не нашел его!), я опускаю посредственные события бродячих дней. Здесь имела место монотонность любого быта. Когда же острые рези в желудке и отмирание конечностей подсказывали, если не вдохновение, то хотя бы полусон на больничной койке, в дело вмешивались досадные „случаи“. Какой-то заспанный турист, весь продымленный дыханием европейских экспрессов, в дымчатых (не ради слова!) очках, спросил меня: „Что это?“. Я ответил: „Гробница Наполеона. Трофеи и тоска. Вам обязательно нужно зайти туда“. С моей стороны, это было простой вежливостью.

Турист, однако, воспротивился. „Нет, я не пойду туда, я ни за что не пойду туда“. Он вытащил из глубокого кармана спортивной куртки дряблый летний апельсин и десятифранковую бумажку, причем прежде, нежели последней суждено было продлить мои сомнительные дни, был преважно, с редкой медлительностью, очищен мясистый бессочный плод. Другой раз, проходя под утро мимо Центральных Рынков, я честно подрядился разгружать возы с коротелью. Робостная хилость моих рук, пастелевые тона овоща, этого ублюдка с детских лет милой нам моркови, наконец, слизь готических декораций, — все отдавало дилетантизмом. Однако я получил сто су и еще понос от серьезной утечки товара. Повторяю, все это было скучно и банально, ничем не отличаясь от гроссбухов или от шелкания „ундервудов“. Даже ночевки возле Порт-де-Виллет, на фортификационных валах, еще не отнятых у травы и бродяг парижским муниципалитетом, вряд ли достойны упоминания. Я не видел звезд и не подставлял под гудки товарных поездов романтической декламации. На грубости ночи порой отвечала лишь моя голодная икота.

Я подхожу к окурку. Дело в том, что отсутствие табаку было для меня горшим испытанием. Мне несколько совестно об этом распространяться. Ведь нет пошляка, который не счел бы долгом, только-только познакомившись, тотчас же сосотрить

о „четырнадцатой“ трубке. Да, граждане, я курю. Если у вас есть табак — попотчуйте, но избавьте меня от литературных реминисценций. Тогда вот никто мне табаку не предлагал. Приходилось довольствоваться окурками. Можно, конечно, и из этого сделать спорт, вроде собирания грибов. Окурки сигар, особенно приятные для докуривания их в трубке, водятся у остановок трамваев или автобусов. Их бросают торопливо, ныряя в нумерованную ограниченность железного астматика.

Я облюбовал одно, грибное, что ли, место — угол улиц Тэтбу и Прованс. После восьми вечера там можно найти подлинные диковины, как-то: половину папиросы или доброе охвостье гаванны.

В тот вечер, пошлый и душный, как все вечера конфекционного лета между сезонными распродажами „Галери Лаффайет“ и автокарами с тридцатью двумя американскими ротозеями, я скромно стоял на своем посту, похожий на идилического рыбака, неотрывного от Сены и от Флобера. Из стыдливости я делал вид, что жду некоего, вовсе не мыслимого автобуса, пренебрегая всеми доступными буквами. Мне повезло: вскоре весьма приличный господин, может быть, заведующий фаянсовым или алюминиевым отделением одного из универсальных магазинов, вскочил на подножку „ФА“ и небрежно скинул, как роза лепесток, большой окурочек хоть недорогой, но крепкой сигары

называемой табачными сидельцами „слоновой лапой“. Среди серости пепла соблазнительно посвечивал рысий глаз. Я быстро нагнулся, чтобы поднять его, но какой-то смуглый фантаст, проходимец в драных не менее моих туфлях и в модном костюмчике, опередил меня.

— Нечего дуться! Найдется и на твою долю!

Приветливость этого конкурента, также слегка комичный южный акцент утешили меня. Знакомство состоялось. Совместно мы направились к следующей остановке, чтобы переменной декораций оживить докучливое дожданье.

ВСЕ НАМЕЧАЕТСЯ

Здесь начинаются затруднения. Следует представить фантаста, счастливо дожевывающего „словную лапу“. Я теряюсь. Ведь искажением перспективы будет к неприлично голым, чувственным губам, дрожавшим под газовыми фонарями, прибавить весь опыт последующих месяцев. Придется, например, удовольствоваться одним именем — „Луиджи“ — фамилию его я узнал много позже. Как ответил бы бедный Луиджи на объемистую анкету, вручаемую столом личного состава в моем, любящем ясность, отечестве? „Профессия?“ Упомянуть, что ли, скромное местечко сельского учителя в Калабрии или сразу выболтать все, то-есть не только дюссельдорфские соски, назойливо всучаемые мамам и мамкам добронравной Анконы, но даже оставшееся безрезультатным заявление голландского туриста ван-Сеельзе о похищенном у него при осмотре мощей св. Агнесы золотом хронометре „Лонжин“ под

номером таким - то? Да и, не вдаваясь в прошлое, трудно объяснить, чем именно занимался Луиджи в Париже, если не считать известного уже собрания окурков. Зимой он работал на заводе „Рено“, но к весне, взяв расчет, то играл на бегах, то проворно открывал дверцы автомобилей, за несколько су щедро жалуя парижанкам дрожь губ и призрачную, как луч семафора, вряд ли точнее определенную, улыбку.

То же самое и касательно убеждений. Это туман, бродящий по полям послевоенной Европы, мокрый, душный туман. Воспаленным глазам он мнится то водокачкой над железными жилами скрещивающихся путей, то картиной Курбе, этой буколической куделью.

Любой выстрел непонятен. Забава дочери платинового короля, которая одаривает дрессированных голубок дробью и слезами, черными от туши, определяющей местопребывание ресниц? Или, может быть, гроза, очередная электрическая бравада, предсказанная метеорологической станцией? Нога, однако, погружается в известную всем сизмальства красноватую слизь. Шабаш чернорубашечников, их „эляля“ в ночи, шакалье лясканье среди полых коз, среди вечно млеконосных Мадонн, среди околпаченной всласть земли? Или мандат, учет, смычка, ножницы, жесткие тени на тройных шарнирах, выстраивающиеся где - то возле томительных болот Полесья? Туман! Из него - то и вынырнул Луиджи —

клуб с большими губами и только. В домике сельского учителя красовались портреты Бакунина и чернобрового убийцы короля Гумберта. Между двумя партиями сосок проворная рука, украшенная позолоченным кольцом со стразами, ухитрялась покрывать анконские стены изображениями молота и серпа, барочными, то - есть наивными и вычурными, как детские облака, как домостроевский быт этой земли, приснившейся мне и вам. Брат Луиджи, тоже оливковый и губастый фантаст, по профессии гравер, значился в списках „фашио“ Эмилии, как „синдикалист, анархист и враг великой родины“. Начав с фанфаронной касторки, эмильские патриоты быстро перешли на наганы, и граверу пришлось в темную ночь, когда мистраль и отчаяние надувают рыжие паруса, бежать в Тулон. Здесь он... Впрочем, об этом позже. Если я сразу расскажу о том, чем набухало то темное лето, мне никто не поверит.

У следующей остановки был найден окурок и для меня. Это скрепило дружбу. В довершение Луиджи щегольнул подлинной россыпью медных су. Карманы шикарного пиджака не подвели, в них оказалось около пяти франков. Знакомство, таким образом, становилось ценным. Однако предстояла ночь с ее темнотой, — овчарка, загоняющая людей в подворотни, ночь, от которой Луиджи, как и я, не мог отделаться солидным адресом, удобным звонком. А толстяк? Толстяк мирно укладывал свои

килограммы на взбитые его половиной пуховики. Агитплакат! Впрочем, где здесь было думать о выводах. Лениво зевая и поплеываясь, побрели мы в Бельвиль, где на сто су можно съесть луковый суп, выпить вдоволь рома, а под утро, пожалуй, и поспать часок-другой с какой-нибудь из неразобранных полувековых невест, в город проходных дворов и денатурированной боли, в прекрасный город — Бельвиль.

Знаете ли вы, как пахнет нищета? Вряд ли. Ее ведь не разводят на цветочных плантациях Грасса, где химики анализируют запахи, способные печалить или веселить. Знаете ли вы, как пахнет потный камень, зеленое масло грошовых оладий, крысиная моча, колтуны волос и колтуны пеленок, свертывающееся в грозовые дни живое мясо калек, сифилитиков и паршивых ребят? Знаете ли вы, как пахнет человеческое горе, соленое темное горе, — вот родился здесь, тяну лямку, здесь и сдохну: ни уйти, ни крикнуть, ни заплакать! Плачут не люди, плачут камни, косые пятнистые дома, лирически источая нечистоты, помой, пену, слюну, кровь ста тысяч граждан, голов крупного скота, избирателей, дураков... Из чего сделан человек? Скажите? Может быть, из гутаперчи?..

Голодные женщины дрались из-за мясной требухи, выкинутой кабатчиком. Они въедались в липкие комья сбитых годами волос. Они отчаянно мяукали, пугая прилипчивых, как мух, кошек. Руки их были

в бычьей крови, и этот трагический цвет, наверное, соблазнил бы художника. Запах сгущался. Поводя тяжело локтями и громко дыша, мы пробивались сквозь него.

Бессонные младенцы требовали своей доли. Вместо грудей, изрезанных зубами трехлетних, еще подкармливаемых для экономии, исщипанных изысканными друзьями, — бельвильской ночью и голодом опорожненных, им подсовывали грязные соски, наспех разжевываемый мякиш, клочья тряпья. Один, вшивый и нежный как ангел пастушеской часоушки, получил даже глоток „кальвадоса“. Яблочный спирт обжег этот ротик, полный еще блаженной слюны, всеми градусами квартального сиротства.

„Дай мне франк или я тебе отстрогаю нос!“ визжал в тупике простуженный сутенер. Над тремя рахитиками, ласково плевавшими друг в друга, пробовала чирикать раздраженная канарейка, случайный гость иных округов. Среди детей, кошек и звезд сидели женщины. Это были трогательные и жалкие витрины окраинных старьевщиков — декольте напоминали незаштопанные дыры, ни ночь, ни пудра не могли скрыть сыпи, грязи, чешуи морщин. Они соблазняли прохожих угрюмым смехом и скрипом соломенных табуреток. Иногда соблазн уточняла цифра, счет тщательно отстукиваемых су — порция жареных кишек, пакетик черного табаку (о. Клеопатра!) — ночь любви. Клей ли (тот, что

„клеит даже железо“), или тоска создавали причудливые бесформенные массы, копошившиеся в темных углах? Мне запомнился один человек, упрямо ворчавший: „Верблюды! Они не хотят мне дать работы. Сегодня восемнадцатый день. Они хотят, чтобы я обязательно сдох!“ Я разглядел его лицо — абрис Фукке — вся спокойная страсть десяти веков — жонглер или монтаньяр, независимый раб. Если отрезать язык, пожалуй, этот пустой и вовсе ненужный для здоровой работы придаток будет все же продолжать свою фронду. „Верблюды“ в точности знают, что они делают. Безработный ворчун, стоя, хватил рюмку и, стоя же, возле мокрой стены уснул. Последние дохлые огни чадилок или припущенных газовых рожков пропали: того требовали ночь и бюджет. Остались звезды. Осталось томительное копошение никогда не замирающего Бельвиля. Далеко, на бульваре Монпарнас сладостно почесывал наспанный жир мой толстяк. Остальное не выяснено: удалось ли старухе спокойно сглотнуть требуху, выжил ли младенец, пригубивший кальвадоса, чтобы стать избирателем республики или, покорчась, отказался от этой чести? Впрочем, какое вам до этого дело?..

Ел и пил я чересчур быстро. Правда, старуха не пугала меня, нет, иные, пусть и вздорные, мысли ускоряли сокращения мышц — вдруг Луиджи раскисает в своей щедрости и вырвет из моих рук

чашку с еще недохлебанной жижицей? Ведь взял же он окурочок... Ром и суп ошпаривали пищевод. От приятной боли я жмурился. Если б мне вздумалось в те минуты предаться поэзии, я сказал бы: „Вот что значит проглотить солнце“. Подумать, что существует на свете меланхолия и капли для аппетита! Солнце росло, неуклюже ворочалось — видимо, ему было во мне тесно. Я тихо стонал от боли и улыбался от счастья. Была даже минута возрождения всей корректности и условности прежней жизни. Чирикание канарейки тогда напомнило мне приветливость жены, и я готов был заговорить с требуховой старухой о последних натюр-мортах Пикассо. Только этого не доставало — и так я был вдоволь смешон — в теннисных туфлях и в драной рубашке, ласково поглаживающий свой неестественно взбухший живот. Луиджи швырял жесты и чувства, как су, не жалея. Его партнерша, кривая и склизкая, как камбала, послушливо билась под дыханьем Калабрии. Пищавший рахитик, возможно, сын камбалы, никак не смущал сопряженных туловищ. Домашний аксессуар? Или философический орнамент? Мой друг был галантен до конца, он и мне предложил деловитую мусорщицу, прежде всего хозяйским оком оглядевшую ложе, то-есть крохотный дворик с ретирадом, а над ним луной. Но я не мог осилить грусти и сна. Полька! Милые девушки! Оставьте эти страницы! Адам любил Еву, Андрей —

Жанну, прусские офицеры и французские поэты любят друг друга. А я ничего не хочу. Дайте мне поспать под этой ретирадной луной, которая покорно ждет метлы и Вертера!

Бельвиль же не спал. Ночь его наполнилась бредом. Только звезды и кепи полицейских соединяли этот задворок с прочим миром. Мне снились местные сны: легкие кавалькады огромных клопов, освеженная морда луны в корзине мусорщицы, пустой овал и пыль, много едкой ехидной пыли.

Утром нас выкинули. Память о ста су не сделала этих людей вежливей. Женщины опустили юбки ниже колен. Лавочники подняли железные шторы. Это обозначало новый день и необходимость выходить на бесславный промысел: продать забытый на скамье номер „Intransigent“, подобрать упавшую с тележки грушу, словом, просуществовать. Оглядываемые подозрительными глазами дозорных, как - то: горничных, прогуливающих пинчеров, булочниц, почтальонов, мы перешли границу просто-Парижа. Впереди шагал, вызывающе и нежно, мой смуглый фантаст. Я же тихо трусил за ним.

Елисейские Поля. Росистая свежесть только что на помаженных лиц. Лак „ситроенов“ на солнце. Смех, давно, со вчерашнего дня не слышанный смех, звонкий и доброкачественный, как проверяемые о прилавок кассы серебряные монеты. Почему же я, свалившись на скамью, закрыл лицо рукой

и просил: запах прошлой ночи, кавалькады сна, лиловые бедра мусорщицы — все, только не это? Зависть, скажете вы? Да, так нас учили с детства. Придя из Бельвиля на Елисейские Поля, где воздух сфабрикован лучшими парфюмерами мира, а шаги — господом и профессорами фокс-трота, можно только завидовать, только глухо и глупо урчать, подражая голосу голодного желудка. Поэтому так трудно будет поверить мне, когда я скажу, что не зависть, нет, отвращение — физическая брезгливость, рождаемая запахами, звуками, раскраской, круто сжимали мое горло. Я не хотел ни этих „ситроенов“, ни этих женщин. Я хотел только, чтобы все это исчезло: несовместимые миры, рахитики Бельвиля, амазонки, направляющиеся в Булонский лес, запах хлеба, цветов и голодной блевотины, прежде всего, чтобы исчезло солнце, бесстыдный и дикий символ равенства, солнце, ухитряющееся с профессиональным безразличием нагревать паркетные эти площади и темный дворик, где вчера в желтой лужице барахталась бельвильская луна.

Мимо нас прошла парочка. Я не умею описывать достойных людей — они давно уже описаны всеми поэтами и всеми модными журналами мира. О чем здесь говорить: о прямой линии платьев — мода 1925 года, — о тонкости переживаний по Марселю Прусту или о ренте? Они гуляли. Это очень полезный и приятный моцион. Она в меру кокет-

ничала. Он в меру настаивал. Здесь не бывает грубой еды и примитивного совокупления, здесь все, от пережевываемых деликатно телячьих почек до круглых подвязок, держащих чулки, при отсутствии прочего, полно обдуманной красоты. Я услышал, как девушка с нежной гримаской сказала:

— На выставке мне больше всего нравится советский павильон. Это дерзко и это наш век, как джаз-банд или футбол.

Тогда, плохо размечая свои поступки, шальной от бельвильской ночи, от лукового супа и от освеженной луны, я подбежал к ней. Я нелепо прокричал:

— Сволочь!..

Она не могла понять меня. Напугал ее, вероятно, голос, еще мой вид — туфли, космы волос, пегие крылья рубахи. Так или иначе, она явно вздрогнула, и эта дрожь была моей нечаянной, моей огромной радостью. Кто поймет меня? Не все ли равно издать тысячу декретов, искромсать, как Равошоль, случайных зевак или же напугать эту передовую душу, справедливо оценившую работы архитектора Мельникова? Я смеялся, стоял и смеялся.

Так была совершена вторая оплошность. Луиджи одобрительно похлопал меня и мимоходом, будто сам с собой советуясь, проговорил:

— Молодец! Ты pomoжешь мне расквитаться с Пике. А теперь — в Булонский лес: может быть, там нам удастся подкрепиться.

ВОТ ЧЕМ ЧРЕВАТЫ ПРАЗДНИКИ

С того дня прошли три недели. Разумеется, я успел позабыть о ночи, проведенной со смуглым фантастом. Еще одно лицо, еще одна рука, приветливо дрожавшая, подымая кабацкую рюмку. Ночи повторялись, быстро стирая друг друга, как фильмы, полные неизбежных трюков и многометражного ужаса. О, монотонность трескучего целлулоида, на котором черным и белым, со скоростью, превосходящей восемнадцать традиционных изображений в секунду, запечатлевается наша жизнь! Я подобрал много других окурков и завел много других знакомств. Луиджи пропал с той самой романтической луной. По ночам мною владели летучие и скользкие, как змеи, рекламы маргарина „Реджио“ или чемоданов „Иновасион“.

За это время мне удалось легализироваться и перед полицией, и перед социальной совестью. Так оседает, кстати, пыль, оседлой становится шаткая

тень, рыскавшая по ночам возле застав, оседлой и даже полезной. Не выдержав свободы и голода, я прикрепился. В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного рынка Виллет на соседние бойни. За десять часов работы я получал двенадцать франков. Этого хватало на чуланчик в номерах, гордо именовавшихся „Отелем Монте-Карло“, и на три порции жареного картофеля. Кроме того мясники, растроганные удачной сделкой, порой давали мне франк — другой. Я сердечно благодарил их и с жадностью поглощал телячью голову, облитую кисленьким уксусом. Вечерами приходилось довольствоваться хлебом и еще световыми рекламами. Грех жаловаться — я жил неплохо, забыв о мире, о хороших обедах, о главлите и о „попутчиках“. Аккуратно считал я зады баранов, исхлестанные роковые зады, на которые рука погонщика занесла свою тоску или ухарство, считал их, пересчитывал. Я ни о чем не думал.

Несколько слов о профессии, дабы устранить возможные недоразумения. Забудьте музейные ландшафты, вечерний отдых и сельский перезвон! От рынка до боен было триста метров — крестный путь стольких-то голов. Порой бараны упирались и, сбиваясь в огромную кудластую сороконожку, трагически мычали. Я кричал тогда „Э! Э!“, при чем голос мой, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или читать публично

некоторые главы из „Жанны Ней“, ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей. Иногда приходилось и хлестать растравленные спины. Вокруг меня сновали люди в синих просаленных блузах, твердя о килограммах и франках. Мне казалось, что движутся не бараны, а только фунты разносортных котлет. Труднее всего давались последние шаги. Бойни делятся на участки, соответствующие городским кварталам. Мой — „Гренель“ — помещался в конце. Баранов приходилось прогонять по лужам родственной крови, то трагически яркой, как эмалевая краска, то окисшей и темной. Мои монотонные окрики покрывались воистину отчаянными ариями закалываемых животных. Слыша смерть, что рядом, за поворотом, жирную и гадко крякающую смерть в синей блузе, бараны останавливались. Какую власть имеют понукание или даже палка там, где крохотное тепло, уют теплых ночей в загоне, смак жвачки еще борются со смертью? Тогда, надсаживаясь и обильно потея (от чего брызги крови и грязь на моем лице замешивались в тесто), я становился на корточки, я нудно проталкивал вперед это живое блеющее мясо. Час спустя скаредно скрипели весы, и сорок су чаевых обращали мою меланхолию в кроткий полусон над сальной тарелкой соседней харчевни.

Я завидую крестьянам — этой растительной жизни, корявым корням низкорослого кустарника, предо-

храняющим сердце и от ветров и от соблазнительного аханья паровозов. Еще более завидую я профессиональной стойкости иных людей. Выходил же в Москве 1920 года, среди пафоса и вшей, листок, чинно обсуждавший различные марки старого фарфора. Почему я принимаюсь на любой почве? Сказали „живи!“, дали штаны и миску супа, готово — живу. Мои годы напоминают водевиль с переодеваниями, но, ей-ей, я не халтурую, я только подчиняюсь. Я могу писать „Хуренито“, а в жизни исправно мычать и проделывать соответствующие триста шагов, как самый заурядный баран. Измены здесь нет — ведь никто никогда не поставил мне на сердце клейма „такой - то“, просто меня перепродавали из рук в руки, измены нет, есть смена, чередование профессий, стран, так называемых „убеждений“ и еще — шляп. В марте я был писателем, насколько помнится, читал в Брюсселе обстоятельные доклады о современной русской прозе. В июле мой мир определялся, вместо Бабея и Федина, вышеозначенными задами. Писал я, скорей всего, потому, что так пошло уж — „писатель“, это слово в паспорте и на устах знакомых делало жизнь, как блок-нот и перья, как рецензии, письма издателей, счета за комнату или неприятная легкость дня на тощак. Теперь, ложась ночью на тряскую койку „Отеля Монте-Карло“, где, переварив сало соседних боен, жирнющие мухи засиживали маршала

Фоша, где маршал этот всю ночь глядел на меня кобальтовыми глазами, полными вечности и старого сала, я не помнил, кто я. Оставались только неистребимые приметы: крупная родинка на плече, общая немощность, угрюмое сердцебиение, когда нечаянно поворачивался я на левый бок, дабы отстать от маршаловых глаз — да, это я здесь, я, Эренбург, рабочий боен в Виллет. Я забыл, что в печатном листе сорок тысяч букв, что мороз в Москве труден и высок, что стихами Пастернака можно дышать, умирая, как кислородом подушки. А однажды, вспомнив это, вспомнив также иное, о чем здесь не место говорить, я сбежал вниз и к немалому удивлению хозяйки, суеюсь, даже задыхаясь, стал требовать чернил. Да, да, не рюмку кальвадоса, чернил. Скорее! Чернила шли за лекарство. Я написал жене: „Если ты поправилась, приезжай. Я живу неплохо, но мне кажется, что я погибаю. Впрочем, это только мнительность от медленного пищеварения. Телячья голова очень тяжелое блюдо. Прости, что я тебе пишу все неинтересные вещи. Я не знаю, где сейчас выставка Ренуара и с кем флиртует Бузу. Если удастся это выяснить, сообщу дополнительно. Но лучше всего приезжай. Приезжай, обязательно приезжай!“.

Письмо это я не отправил. Я разорвал его, позволив себе столь классический жест, несмотря на наклеенную уже марку. Я затрудняюсь сказать, от

чего мне было большее отказаться в ту минуту — от нежных чувств, или от этих шести су. Я попросту струсил: придет, изумится, где? что? какие бараны? Станет плакать, выговаривать за то, что небрит, давно, вечно небрит, грязен, ободран, упрашивать переехать к ней в пансион, словом, начнется нечто скучное, хлопотливое и ответственное. Придется, чего доброго, снова сесть писать. Нет, уж лучше кричать: „Э! Э!“ . Так не вылечили меня и чернила.

Лето стояло наредкость душное. Изъятие воздуха сказывалось в разбухании лиловых жил на висках, в их настойчивом грохоте, еще в хронике бульварных газет, где тривиальные самоубийства перебивались трупами в корзинах или шайками маскированных бандитов. Выхода требует в такие дни человеческое естество. Возле поэзии и преступления неуклюже барахтаются различные головы — в канотье, в каскетках и просто лысые, как задыхающиеся рыбы возле проруби. Женское мясо горячей своей сыростью вызывает тошноту. Бойчее всего торгуют мороженым и огнестрельным оружием. Запахи не могут подняться вверх. Они ползают по мягкому асфальту, запахи свиного сала, пота, иодоформа. Ночью стены еще держат жар, и голова в духовке наспех обдумывает все сложные детали мести. Те, кому, может быть, и следовало бы мстить, рыжей (модной ныне) пудрой

загара присыпают свои анемичные корпуса на взморьях Нормандии или Бретани. Остаются солнце и полицейские. Духота, июльская духота ощеренного города, нож в зубах истомленного сутенера, химический лимонад, младенцы в чахоточных скверах, приседающие „за маленьким“ и „за большим“, голод, тоска — нет, меня ничем не обделили.

Подошли праздники — 14-ое июля. Мясники сняли синие блузы, они уехали за город есть крутые яйца и дышать бензином „фордов“. Блеющие нежно смертники получили, таким образом, три дня отсрочки, — они могли переваривать жвачку и славить Третью Республику. Что мне было делать? Кричать „Э! Э!“ толстозадым барышням? Танцевать фокс-трот? Лирически вспоминать события французской истории? Я не знал, как изжить эти три томительных дня. Не было слышно заводских гудков. Опущенные шторы лавок требовали чувств взаимности исключительных. Ночью люди не спали. Они проделывали различные механические сокращения и невесело, но очень громко смеялись, как заржавевшие шарманки окраинных кабаков. Веселились, пожалуй, только держатели питейных заведений: поднимающаяся ртуть термометра и труд, не зря пропавший, парижского народа, взявшего, как говорят, Бастилию, увеличивали жажду. К концу второго дня, остановившись возле престарелой торговки овощами, которая жалко водила полуистлевшим

уже задом в такт фокс-троту, я закрыл глаза и застонал. Как я хотел подталкивать моих баранов! Праздники, однако, длились.

Я позволю себе здесь признаться, что нет института, который так бы пугал меня, как этот. Вот она, огромная площадь, обычно запруженная автомобилями и пешеходами — теперь же залусканный зал некоего торжества, подмышники, скорлупа китайских орешков, красный сироп, остановившиеся белки тысячи глаз, остановившиеся стрелки разомлевших циферблатов, великая скука — да, она, неизменно она! Спешите, автомобили, давите прохожих, заводы, кромсайте мясо и сталь, шумите, как леса Индии, листы перепуганных и наглых газет, — если вы и не жизнь, то хоть ее иллюзия! Милые будни, трудные будни — нельзя остановиться — толкнут, отбросят, задавят, некогда думать — какое счастье! Вдруг — перерыв тока. Пошленький, говоря откровенно, трюк из „Спящей Красавицы“ хронически повторяется. Доменные печи тоскливо остывают, наподобие покойников. Черная пыль траурно скрипит под ногами зевающего сторожа. Заумно блеют бараны, не смея ни жить, ни умереть. Где-то, между седьмым и восьмым этажами, висит лифт, храня еще в пустынном пролете курсы предпраздничной биржи и дыханье обсчитавшихся кассиров. Еще выше — нежно воркует, учитывая выпавшую паузу, жирный голубь, тот голубь, что вчера мог

быть, а завтра будет на лиловой карточке ресторана, обрамленный неизбежным горошком. Еще выше — обсосанные леденцы собора Сакре-Кэр, зной, теория относительности, тоска. Люди же празднуют. Чтобы не сидеть, они качаются под рычанье фаготов, чтобы не молчать — смеются: все это только произвольная отдача давней жизни, агония туфель и пиджаков. Засыпающие ребята роняют слюну. Премерзко чешутся неопределенные собаки. Музыканты вкачивают в легкие уныние и выдыхают его обратно в виде воя, железного зуда, икоты, лживой выдуманной суеты. Тогда и люди начинают чесаться. Пиво входит и выходит, эпически, как библейская жизнь. Делать нечего. Итти некуда. А праздники все длятся, длятся, длятся.

Я сел за столик, как все, выпил рюмку рома, выпил кружку пива, выругался, несколько раз сплюнул, потом выбрал жиденькую мастерицу и, пользуясь общей сумятицей, попробовал потанцевать с ней, хотя этому вовсе не обучен. Дама моя сильно пахла керосином: у нее, вероятно, лезли волосы. Я угадывал перхоть и одиночество. Пожалуй, я мог бы пойти с ней спать, но нет же, кто спит в эту ночь? Кафэ открыты, музыканты усердствуют. Я подсунул красотку первому ротозею, а сам перешел на орешки. Нечто баранье овладело мной; чтобы меня не упрекнули в снобизме, скажу привычнее — я задремал.

— Перехватил, бедняга? Ничего, подбодрись! Эй, гарсон, еще два кальвадоса!

Исчезли сразу покой этих недель, бараны, телячья голова, глаза маршала Фоша — все. Довольно, впрочем, считать оплошности — это только утомит и меня и вас. Я покорно проглотил кальвадос. Более того, понимая ритуал дружбы, я наспех смастерил нечто вроде приветливой улыбки. За рюмкой быстро последовали другие. Луиджи, видимо, успел разбогатеть. О собирании окурков вряд ли приходилось думать: он угостил меня папиросами с золотым мундштучком. Увидав кожаный портсигар, я застеснялся и попробовал было втянуть в себя бурые ободки рубашки, но это мне не удалось. Шутка ли? Я сидел с управляющим итальянским баром на улице Шатодэн. Управляющий — это может пить кофе, глотать бриоши, важно подзывать лакеев: „Еще!“. Это пост!

Как удалось Луиджи столь быстро подняться? Он мне не сказал об этом. Он вообще не говорил мне ни о чем. Нельзя было назвать его молчаливым, — напротив, он охотно плевался цифрами, женскими именами и зазорными, достаточно специальными, терминами. Чувственные губы тогда целовались со стеклом рюмок и с газовыми звездами. Однако нелегко было составить из этого рассыпанного набора хронику его дней. Бар на улице Шатодэн? Хорошо. Но при чем тут туринская красавица

Лина, „звезда“, вероятно, десятой величины фильмов „Глория“, при чем тут старинное трюмо, антиквар m-г Грель, умеренная оппозиция газеты „Стампа“, две фальшивые депеши, дрожь лиры, решающая поездка в Фонтенебло, где некто Рикати, Луиджи и упомянутая Лина подписали „домашний договор“? Я так и не понял. Мне показалось это модной головоломкой („слова крестом“), взятой из газеты, и, тупо ухмыляясь, четыремя или пятью рюмками уже доведенный до мудрости, обобщающей все, я только тихо заметил: „Город в Халдее из двух букв „Ур“, кантон Швейцарии из трех букв — „Ури“. Луиджи, а ты никогда не писал стихов?“ Оказалось, писал — этот фантаст переспрыгал все глаголы — конечно же, писал, замечательные стихи, ничуть не хуже д'Аннунцио — о раненой свободе, которая рычит, как абиссинский лев, также о грудях некой Ады, напоминавших заоблачные магнолии. Bravo, Луиджи! Еще рюмочку погонщику баранов, из всех звуков он теперь знает только один: „Э! Э!“.

Впрочем, стихи никак не относятся к делу. Нельзя же упомянуть обо всем — о мраморном галстуке Луиджи или о свойствах кальвадоса. Если б это было романом, сомнительный цвет предшествующих глав определенно уступал бы здесь место пресловутой „завязке“. Появление смуглого фантаста начинало оправдываться. Я не мог благодушествовать над

очередной рюмкой. Среди беспредметной мечтательности Лин, Ад и диких цифр я вдруг опознал нечто знакомое. „Пике“ — это имя я слышал. Но когда?.. Ах, та ночь во дворике и асфальт Елисейских Полей! Вот зачем я некогда родился на горбатой Институтской улице, среди увлечений Тартаковым и жесткого простонародного снега, зачем жил тридцать пять лет, загромождая мир стоптанной обувью, печатными листами и пеплом трубок, зачем ушел от любви, от литературы, от уюта моего толстяка — устранить какого-то Пике, вероятно, густо-фиолетового банкира с геморроем, с алмазными запонками, с игрушечным пантеоном на письменном столе, с душой пушистой и сонной, как отложившая яички бабочка.

НАЕДИНЕ С МАРШАЛОМ

После тяжелого, кислого, как невыпеченный хлеб, сна пришлось проснуться. Животик Пике оказался, однако, незаспанным. Моя профессия снова менялась и не по моей воле. Зады баранов свертывались в один злосчастный рубец. Признаюсь, я воспринимал это тупо и достаточно покорно, как выселение из комнаты. Убить, так убить. На чем все мы держимся? Роль подтяжек исполняет налаженный быт, известный распорядок, твердость обстоятельств. Одно неосторожное движение и вот уже нет задержки. Сползают заутюженные брюки, с ними совесть или честность. Так создаются тиражные романы и паскудная жизнь.

Я пробовал, скорей для вида, сопротивляться. Я решал забыть о словах Луиджи, о свидании, назначенном в шведском ресторане на улице Юиганс, о всученном мне на прощание стофранковом билете. Я искал защиты у Фоша, но кобальт этого почтен-

ного героя легко переходил в синь мясных блуз, в сирень освеженных туш, в угрюмую венозность жизненного круговорота. Можно ли уйти от этого, господин маршал? Кстати, и вы гнали исклестанных, музыкально-мычавших, уже переведенных на золото, на угодь, на сталь, и вы, да, и вы, голубоглазый хранитель.

Кто же он, этот Пике? Толкование социального положения и душевного колера было не менее произвольным, чем приписываемая ему фиолетовость щек. Умея ругаться или хвастаться, Луиджи не умел объяснять. Если иные слова еще могли сойти за вежи, то и они застилались туманом многоградусного кальвадоса. Только к вечеру я кое-как сложил раскиданные кубики. Получился рассказ, в меру занятный, в меру нелепый, где тире и восклицательные знаки заменяли слишком педантичный смысл, рассказ, вполне достойный подписи модных ныне авторов. Я здесь не при чем. Я люблю ясность и точный счет. Когда я составлял прежде планы моих романов, герои сходились и расходились с железнодорожной точностью, крушения подготавливались лет этак за пять, все бывало понятным, даже для критиков из „Вечерней Москвы“. Но что же делать, если жизнь идет порой против логики, даже против синтаксиса? В конечном счете, новорожденный образ Пике был не более условным, нежели смуглость моего фантаста, вставшая под шаром

газа, среди окурков, алфавита, автобусов и повседневной маелты.

Здесь встаньте, граждане, мы совместно исполним припев „Интернационала“. В этом скажется не только многолетний навык, но известная подлинность чувств. И потом, хотя бы ради стройности мелодии, помиримся на минуту! Вы верите... впрочем, вы лучше меня знаете, во что вы верите. Об этом имеется обширнейшая литература. Я же не верю ни во что. Так я устроен, и окостеневший мой позвоночник уже не поддается никакому выпрямлению. Но бывают часы — несколько газетных строк, красная лужица, присыпаемая золотым песком парламентских прений или автомобильных гонок, сухие ремарки двух-трех выстрелов, которые не значатся в радиоконцертах Эйфелевой башни, среди арий Сен-Санса и популярных курсов гастрономии, бывают часы, когда я готов от злобы любить, от отчаяния готов верить, верить во что угодно, в программы, в анкеты, в регистрации.

Среди пяти или десяти сортов закусок, под всеми долготами приготавливающих желудки к более солидным яствам, обязательно значатся сардинки. Эта нежная рыбка как будто живет не в море, но в условных бассейнах золотистого масла. Впрочем, это только иллюзия. В городе Дуарненезе, в душных и вонючих бараках, нежные не менее рыбок, девушки руками, вспухшими, с растравленными

язвами солят, кипятят и купают в масле общеизвестную снесь. Девяносто су в день. Хлеб после десяти часов работы остается незастранным. Да, но при чем тут Пике?..

На песчаном кладбище Дуарненеза недавно обозначились четыре новых могилы, и если разраится зимой исландский норд-вест, он, может быть, оголит сухие, ломкие, вроде рыбьих, кости. Подругам остается петь о синих глазах девушек Дуарненеза, синих доподлинно, как воротнички матросов, уплывших умирать где-то в Рифе на крейсере „Жан Барт“. Глаз больше нет. Остальное известно по газетам — стачка, подосланные из Парижа наемные убийцы, жесткий ремингтонный щелк револьверов — „доложить — исполнено“, запах рыбы, наконец, соль слез. Чистенькие рекламы лучших марок сардинок цветут вдоль железнодорожных путей, среди депо и маков. Сардинки продолжают плавать в золотистом море, девушки петь о синих глазах. Касательно выдачи наградных расторопным исполнителям, не зря съездившим из Парижа в Дуарненез, распорядился сам господин Пике, — добрый Пике, Пике, который входит во все.

До сих пор ничего не ясно. А Луиджи? Какое ему дело до сардинок Бретани? Деятельность Пике, однако, была весьма разносторонней. Он тоже не имел никакого отношения к рыбному промыслу. Ему принадлежали шелкопрядильня в Сан-Этьене,

парижская газета „La Patrie“ и сеть универсальных магазинов „Dames du Nord“, обслуживающих север Франции. В этом нет ничего объединяющего. Но на фабрику принимались исключительно рабочие, не состоящие в синдикатах, газета „La Patrie“ ежедневно повторяла „час настал“, а приходивший наниматься в лильское правление магазинов „Dames du Nord“ мог заметить на стене, не без каллиграфического искусства вычерченное, объявление: „Персонал состоит из честных католиков и патриотов. Социалистов, масонов и евреев просят не беспокоиться“.

Вспомнить еще несколько фраз Луиджи, задуматься на минуту — кто же это — депутат, просто шарлатан или коммивояжер убийств? — и все разъяснится. На узенькой улице квартала Сан-Сюльпис, где торгуют гипсовыми великомученицами, ладаном и произведениями Мориса Барреса, где сосредоточены страусовые гривы всех похоронных процессий, духовные семинарии, а также „фабрики ангелов“, где, что ни шаг, то сутана, амазонский сосок Жанны д'Арк, целулоидная лилия, на улице святой и непотребной, среди бессеребрянных консержек, среди оскопленных котов помещается центральный комитет молодой лиги „Франция и порядок“. Караулящая у ворот привратница неизменно бренчит связкой ключей. Диктуется это не обилием шкапов, сундуков, кладовок, а поверьем, предписы-

вающим хвататься за железо при виде духовной особы. Вот к этим воротам, по словам Луиджи, часто подъезжал эlegantный „ситроен“ господина Пике. Председатель „Лиги“ аббатов не пугался и консьержке не жаловался ни на дурные сны, ни на суставной ревматизм. Бодро проходил он во флигелек, откуда доносились разговоры, отнюдь не старомодные, как-то: о курсе франка, о налоге на капитал, о школьной политике в Эльзасе.

Если девушки Дуарненеза продолжали петь о синих глазах, не таков был Луиджи. Стоило ли его брату в угрюмую ночь тягаться с мистралем, стоило ли нищенствовать в Марсели, то вакся штиблеты греческих капитанов, то грузя снаряды для усмирения каких-то друзей, стоило ли ему уйти от черномастых борзых, чтобы попасть в капкан молодецкой „Лиги“? Газеты мимоходом шушукнули: „итальянский анархист Джиованни Ваппо застрелен двумя соотечественниками во время драки“. Что же, репортеры честно изложили полицейский протокол. Большого они не знали. Другое дело господин Пике, господин Пике, который входит во все! Хорошее хозяйство создается только вездесущими домоводами, не брезгающими там выполоть лебеду, а там посыпать перца от моли.

Хорошо обо всем этом читать в газете, хотя бы в „Известиях“, когда невременно шумит самовар, а „молодая жизнь“ ангелически щебечет о бес-

смертных „ладушках“, которые едят, пьют и улетают. Да, да, я заранее согласен! Я выражаю гражданский протест и я не сомневаюсь, что соответствующая резолюция будет принята единогласно. Разве не наставляет меня любая лавочка, где ореховая халва и первосортные колбасы — „в единении — сила“?

Но маршал Фош присутствовал при другом. Голосования вовсе не было. На постели нудно ворочался и стонал погонщик баранов, не вышедший на работу потому, что он проглотил накануне слишком много кальвадоса, и еще потому, что ему предстояло убить господина Пике.

Все продумав, я попытался возненавидеть. Я проделывал различные движения, которые должны были приблизить меня к облику, если не лубочного мстителя, то, во всяком случае, сознательного анархиста. Пике мне, разумеется, не нравился. Но от этого до пули еще далеко. Какой невыразимо глупый поединок между опустившимся литератором и владельцем сети универсальных магазинов! У Луиджи с ним свои счета. Пусть сам и расплачивается. Наконец, этот итальянец мог и наврать. Я подкреплял нехотение солидными идеями. Фош услышал фразу, прочитанную когда-то на московской стене, среди сроков выдач по различным купонам: „Мы боремся с классом, а не с личностями“. Я готов был уже написать это на случайно зава-

лявшейся в брючном кармане старой визитной карточке и вручить вместо ответа Луиджи. Но тогда-то я понял, что, помимо Пике, мне решительно нечего делать. Случилось так, что я встретил губастого призрака, что он сказал мне „молодец поможешь“. Я не вышел гнать баранов. Не выйду и завтра. Хрупкий распорядок заемной жизни, жизни, откровенно говоря, не всерьез, среди мясников и бездумья, разрушен. Писать, как прежде, романы? Но кому это нужно, если не считать взбалмошной польки и двух-трех критиков, нагоняющих на мне строчки? Жена? Она рисует яблоки и кувшин, кувшин и яблоки. Она, наверное, теперь чешет шею любимого попугая и лепечет: „Жако, Жако“. Жена скажет: „побрейся“. Вдруг все пути оказались отрезанными. А здесь Луиджи, который знает, что мне нужно делать.

Голубоглазый хранитель, вы меня не оберегли!

Лирически вздохнув, я надвинул каскетку на нос, чтобы придать себе более соответствующий убийце вид.

В СВЯЗИ С НАСЕКОМЫМИ

Зачем только улица Юиганс? — ведь это Монпарнас, — вторая моя родина, нарочитая и условная, как ямбические слезы, квартал вечной славы и меблированных комнат, с неизменно пустыми комодами. Здесь меня знали все лакеи, все кошки, все скамьи. За Киев я неответственен — это мне дано, наравне с тяжелыми вислыми губами, наравне со снегом, с одышкой и с болью. Но Монпарнас я выбрал. Вместе с другими, с такими же наглыми и трусливыми эквилибристами, я выдумал его в бессонную ночь.

Географически это — часть Парижа, следовательно Франции, помесь 6-го и 14-го округов, сумма домов и избирателей, гастрономический магазин Дамуа, лицей Станислава, церковь. Если верить газетам, в нем проживают подлинные люди, которые ходят к нотариусу и к податному инспектору, перед которыми раз в четыре года страстно обличают

друг друга два близнеца: „радикальный республиканец“ и „республиканский радикал“. Но кто верит газетам? В Монпарнассе этих людей нет. Да в нем и вовсе нет людей, — только дрессированные призраки и дешевые отели.

Духовная натурализация чрезвычайно напоминает развоплощение. Прежде всего фантом скидывает родину. Ах, господа, это не интернационализм, это только кислый кофе и скука! Вместе со смуглотой чилийца, в табачных затонах „Ротонды“ испаряется память о белом камне, о рыжей земле, о жадном тростнике, который караулит, обнимает, проглатывает созданную окровавленными плечами и волей тропинку. Какое дело вот тому карнаухому шведу, дремлющему под вечным газом до белых ночей? Прежние языки отмирают, новый же абстрактен и скуп, как тире Морзе. Ненужность, своя и чужая, здесь закон бытия. Трудно, даже в самые критические минуты, заставить живописца слушать стихи, и так далее. Вывоза не замечается, и залежи шедевров, на-ряду с грязными воротничками и с общедоступными, вследствие отсутствия предрассудков, а также дороговизны чулок, женщинами, загромождают пять кафэ, семнадцать отелей и анемичное сердце.

Благословенный край! За его границами быт, буржуазный или рабочий, быт депутатов или шахтеров, но обязательно быт, жизнь взаправду, с обря-

дами, с меченым бельем, с детьми и с именинами. Здесь же нельзя полюбить, нельзя даже как следует напиться — все это только литературные приемы. Модель для картины, модель для платья, для элегии, для сна, для пластического сна на ритмически чуткой кровати.

Я благодарю тебя, Монпарнас, с твоей мифологической кличкой и маскарадными притонами, публичный дом, пропускающий ежегодно сорок тысяч импотентов, богадельня для шикарного умаления, для лишения всего, вшивый рай, где росло и крепло мое человеческое отчаяние.

Но, покинув однажды, вследствие уже известной вам корыстности, моего толстяка, эту изумительную санаторию, я отнюдь не был склонен возвращаться назад. Подобные переделки даром не сходят. Меня узнают, станут расспрашивать: „пишете?“. Что я отвечу?.. Назову ли вместо романов Дельтейля телячью голову или, может быть, вздумаю считать зады натурщиц? Притом господу Пике не водятся в подобных зонах. Нет, мне, новичку взаправды, нечего делать среди картонных бутербродов и анилиновых душ.

Так думал я, совершая переход от Виллет к Монпарнасу, через иные кварталы, полные ритуала и тоски, через различные солнечные системы, где резок свет кинема и несносно вращение полицейских велосипедистов. Тогда я еще различал квар-

талы и верил в подлинность известных жестов. Я порицал огни „Ротонды“, границы вымысла, рампы моих вчерашних дней. Теперь мне все равно, где жить. Я готов вернуться к палитрам и блохам Монпарнасса, мудро покрикивая, как любимец жены „Жако“: „Спать-пить, пить-спать“. Я понял случайность всех профессий. Теперь... Однако не следует путать глагольные времена, тем паче, что в шведском ресторане на улице Юиганс ждал меня Луиджи, ждал давно, ждал не один.

Боясь быть опознанным барышнями из ресторана „Дюгеклен“, где я с женой имел обыкновение заказывать телячьи котлеты и шпинат, также моим фаворитом и даже другом, котом „Мавро“ из кофейни „Дом“, удивительным котом, выдвинувшимся, если не в люди, то в собаки, с ошейником и с правом на самостоятельные суждения, я сделал большой крюк. Все обошлось благополучно. Только бородатая газетчица, фамильярно улыбаясь — а вот и мы, а вот и неувядающее искусство — протянула мне номер „Journal Litteraire“, как будто я и не знавал вовсе баранов — свеженькие новости: сюрреалисты изругали Клоделя. Нет, сударыня, уж лучше „Petit Parisien“ — там, по крайней мере, курс рогатого скота, крупного и мелкого, самоубийство мастерицы с вздувшимся животом и с вздувшимся, как море в шторм, сердцем, по крайней мере, там некоторая, пусть и мышиная, жизнь.

Как большинство семитов, я живу предпочтительно запахами, поэтому ни кубистические картины на стенах, ни насвистывание „Белотт“ не помешали мне сразу очутиться на севере, крикнуть, правда, деликатно вешалке и солонине „скол“. Смешение медового табаку, селедок, жженого приторного пунша подсказывало пеньку, пароходные канаты, распродажу шхер и восторгов, чистейшую, с благословения пастора, любовь. Но отрады бесхлопотного путешествия длились недолго. Луиджи приветливо закивал огромными губами. Папирсы с золотым мундштуком оказались превзойденными. Небрежно показал он на сидевшую рядом с ним даму. Я сразу отметил серафические кудряшки и чересчур художественный шарф.

— Знакомьтесь. Паули, моя подруга, немка, художница, говоря прямо — героический мотылек.

Я должен здесь покинуть Швецию, яичницу с кильками, даже пунш, оставить, хотя бы на время, Луиджи, который не зря дал мне сто франков, не зря потчевал скандинавскими яствами, забыть про первые наброски уголовного романа, где полусобачья, полуангелическая кличка „Диди“ сочеталась с лигой „Франция и порядок“, словом, убрать место действия, пренебречь сюжетом и все свое внимание отдать новому персонажу навязанной мне повести: кудряшкам, шарфу, не будучи никак собирателем бабочек, этому залетевшему на мой свет мотыльку.

Лучшее определение трудно придумать. Забудьте стихи из хрестоматии, поглядите-ка вечером на лампу, когда тупо беснуются вокруг нее эти загадочные насекомые. Толстое брюшко, в котором не трудно опознать хороший аппетит и самодовольное потягивание первоначальной гусеницы, украшено крылышками, выставочными и вымученными, как шарф Паули, как картины на стенах шведского ресторана среди взбитых сливок и маринадов. Шашни с огнем кончаются либо „хроникой происшествий“, либо вполне благополучно, оставаясь в памяти двумя, тремя фокс-тротами. (За ними следуют хлопотливое откладывание яиц и нотариальное замирание на пыльном осеннем стекле.) Знаю, и это правдивое описание иные сочтут за клевету — помилуйте, бабочки... Что же, я аккуратно перечислю приметы моей Паули и различные биографические данные, сообщенные ею в тот вечер.

Она ухитрилась быть аскетически толстой, то есть соединять хрупкость, даже болезненность экспрессионистической барышни из ночной кондитерской Шарлоттенбурга с некоторыми припухлостями, с любовью к пирогам, к клецкам и к прочим мучнистым препаратам. Скорее всего она напоминала домовитых и порочных мадонн швабского средневековья. Не хватало только яблока для традиционных забав младенца. За яблоко, впрочем, могли сойти не то египетские, не то мюнхенские бусы

гигантского ожерелья, угрюмо бренчавшие, когда она говорила: „Я скоро умру“ или „Передайте мне майонез“. Может быть, этим объяснялась ее живопись — трогательная резиньяция матросов в публичных домах Сан-Паули и подозрительные проказы трехлетних херувимов. Все, от хаоса слов до чрезвычайно грязной буро-оливковой палитры, было самым беспорядком, но это не мешало Паули с педантизмом мифической немки порядок обожать, исправлять расстановку слов в фразах, маниакально часами переставлять предметы хозяйства, то-есть грелку для живота, флаконы духов, тюбики акварели и теософские трактаты. Истерически боявшаяся стрекоз и голубей, она заверяла, что ей ничего не стоит войти в клетку с тиграми. Говоря это, она, вероятно, оставалась правдивой. Ведь написала же она письмо Муссолини: „Вы — воля. Ваш стиль понятен мне. Я хочу, чтобы вы вошли в меня, как это сказано в библии и в новеллах Поля Морана. Вы понимаете — удовольствие здесь не при чем — мне необходимо одиночество и сын от Муссолини“. Ответа, увы, не последовало, и Паули пришлось удовольствоваться соотечественником гордого „Дуче“, моим новым покровителем. В баре, на улице Шатоден, она могла вволю пить паточный ликер „Стрега“ и декламировать стихи Толлера.

Все это я получил немедленно над яичницей с кильками, еще до ростбифа, до Диди, до убийства.

На Паули напало какое-то словесное неистовство. Ритм ее речи походил на одышку альпиниста, подходящего к цели. Как я потом заметил, эта катастрофическая словоохотливость сменялась часами полного, казалось, неодоушевленного молчания, когда о Паули легко было забыть, до того ее неучастие в происходящем являлось легким и естественным. Так и в тот вечер — после рассказа (сотого? тысячного?) о письме к Муссолини, одаренного тоже, вероятно, глубоко традиционной ремаркой Луиджи: „молчи, ваза!“, истощенная, она приникла и, кроме старательного поглощения блюд, ничем себя больше не проявляла.

Я мог спокойно оглядеть ее и убедиться, что Луиджи не прогадал. Вы правы, милые хрестоматии: ей-ей, мотылек достоин поэтических потуг. Пусть бусы и препротивно бренчат, как романы Эберта, милые кудряшки полны утреннего звона полей, где роса, ромашки, жаворонки. А мягкость форм, поскольку я уже подумал о жаворонках, сдобная и легчайшая, заставляет воскликнуть: „Где вы, мартовские птички из окон булочной, когда таял снег, а сердце тараном било гимназический билет?..“ Сколько книг написано о женственности! Ее обязательный анализ значитесь и на тычинках церковных лилий и на бутылках минеральной воды. Однако, увидев такие глаза, такой наклон головы, такую готовность, пусть и наманикюренных, рук, чувствуешь

себя всякий раз Колумбом. Цезуры ведь допускают вечное разнообразие пульса, как и нашего доброго старого ямба. Невольно восклицаешь: „спасите меня“ или же — „прийдите мне пуговицы, я печален и одинок“.

Прошу не запомнить этих лирических признаний — они объяснят многое в дальнейшем вернее, нежели все беседы с моей новой сотоваркой. (Знакомство, как и ростбиф, диктовались ведь делом.) Забегая несколько вперед, скажу, что мои познания вскоре обогатились. Я узнал, что письма от Паули получили также профессор Фрейд, Рудольф Штейнер, молодой поэт Жозеф Дельтейль, некто Пигос, воскресивший старинные игры басков, и некоторые другие, более или менее заметные люди. Всех их Паули жалела за одиночество и ото всех хотела иметь сына. В итоге... Однако об итогах после.

Луиджи быстро напомнил мне о моих далеко не романтических беседах с маршалом Фошем. Легко было и забыться. От улицы Юиганс рукой подать до моего толстяка, следовательно, до литературы, до жены, до бюро вырезок со статьями гражданина Терещенко, до недавнего прошлого. Зашли пропить гонорар среди энigmatичных скандинавов. С Паули можно поговорить о живописи — это тоже дело привычное, семейное, можно и поцеловать ее разок-другой. Подобные улады, наверное, значатся в кар-

точке ресторана между сыром и знаменитым тортом. Но нет же...

— Он и Диди наладят все.

Это произнес мой фантаст, при чем местоименис относилось ко мне. Совместно с какой-то Диди (левретка или мадонна из дансинга?) должен я, — да, именно я — никто другой „наладить все“. Будем откровенны — это значит вспороть брюхо фиолетовому субъекту, с фамилией короткой, точной, как мишень, однако загадочной по произвольным ассоциациям — то девственно нежное, белое одеяльце на прибранной кровати, то черная масть гадаальной колоды: болезнь, слезы, смерть. Отступать поздно — я сам признался Луиджи в своих убеждениях, я взял, наконец, у него сто франков. Вы можете называть меня как угодно — идейным анархистом или наемным убийцей — от этого ничего не изменится.

А Паули?.. Что же, Паули останется с Луиджи. Так устроена жизнь. Великолепно, товарищ фантаст! Вместе с Диди мы наладим все. Ты можешь быть спокоен.

Огромное благодущие после торта, после пунша, после мыслей о любви и смерти, заполнило меня, четверть часа нирваны, пищеварительный дар, когда все повороты кажутся уже совершенными, все книги написанными, все сделки налаженными. Только бы не встать!.. Вот он лежит на ковре, таинственный Пике, убитый алкоголем и моей фантазией. В его

руках лиловая астра и номерок от гардероба. Кто унаследует его палку, великолепную палку с набалдашником из слоновой кости, скипетр над сетью универсальных магазинов „Dames du Nord“? Конечно, я. Я дам Паули мое сердце, перелицованное сердце автора шести романов, и еще много чулок, туфель, пижам, решительно все.

Прелестные мечты, даровые (за них платил Луиджи), однако только мечты. На полу действительно лежал долговязый дурак, перехвативший пунша. Он лежал под картиной, изображавшей машинное колесо и спичечную коробку. Ей-то он протягивал астру и гардеробный номерок, выкрикивая: — Искусство! Абстракция! Скол!

Этот крик покрывал все голоса, даже перезвон, вечерний, мелодичный перезвон сгоняемых на сон стаканов, даже водный гул вечности, заполнявший уши поевших, как и мы, всласть. Паули презрительно поморщилась.

— Вы его не знаете? Он рисует семафоры. Он влюблен в аптекаря на улице Вавен. У него в Дании одиннадцать коров и серебряная свадьба.

Я ничего не понял. Нет, я понял одно. Глядя на Паули, на этого никчемного мотылька, взметенного обилием рюмок и общей мне, вам, всем нам тоской, я понял одно — не только Пике предстоит мне, но еще...

И я покорился.

ЧЕГО СТЫДЯТСЯ ЛЮДИ

Слишком гол и долог идущий сейчас ветер, слишком близко мое тело, утратившее и жар и твердость лепки к земле, с которой суждено ему не сегодня - завтра смешаться, слишком поздно, чтобы прикидываться.

Скажу прямо — влюбляться и заводить ложасть часы для меня одно и то же — в этом сказывается привычка, уважение к не мной налаженному механизму. Я никак не могу определить сроков этих явлений, симптомы инкубационного периода, однако, мне хорошо известны. Начинается это с зевоты, с известной рассеянности, с бессмысленных стоянок у различных витрин, где потусторонне цепенеют пылесосы, или жемчуга, или груды лимонов. Со стороны кажется, что я ничего не замечаю. Так сердце, любитель древности, кузен Понс, плутоватый простофиля, вновь и вновь приценивается к женским зрочкам и к звездам. Решающая минута

ничем не отличается от других. Когда именно был нажат затвор, работающий со скоростью одной тысячной секунды и чьи веснушки остались на светочувствительной эмульсии? Только много позднее в скупом свете лаборатории происходит химическая реакция. Сначала проступает небо, потом блики лица, наконец оторочка платья, заурядные приметы той или иной жизни. Часы заведены. Остальное хорошо известно и мне, и ей, и вам, поскольку вы достигли физического совершеннолетия.

Я не стану рассказывать, как проявлялась та пластинка. Ведь вечер в шведском ресторане мною рассказан ретроспективно, и нетрудно догадаться, что я влюбился в Паули, влюбился умеренно, вне полярного магнетизма, вне тропических лихорадок, где-то в полосе чекового обращения и демисезонных пальто, как может влюбляться человек моих лет, то-есть в двадцатых числах месяца, уже уставший от дебютных безумств и еще не дошедший до заключительной ярости.

Проснувшись на следующее утро, я одарил моего маршала сладким позевыванием. Этим сказано все. В течение дня я уже не думал ни о шее господина Пике, ни о баранах. Я бродил по большим бульварам, читая рекламы и вслушиваясь в гудки автомобилей. Из надписей мне особенно понравилась одна: „Вода святой Редегонды, как никто, балует кишечник“. Это напоминало о курортных цветниках

и о чисто средневековой страсти — „как никто“... Что касается гудков, то они за меня беседовали с Паули. Одни, дамских лимузинов, где внутри пармские фиалки и пинчер, деликатно замечали: „Посторонитесь, ах!..“ Озабоченные такси, чье сердце скачет, повышая сумму расплаты и заставляя скакать сердце расчетливого седока, ворчали: „Дорогу! Мы торопимся!“ Вернее всего передавали мои чувства грузовики с их несложными окриками: „Ты-то!.. того!.. не то!..“. Так я провел весь день, подкрепляясь вином, сыром и фантазией.

В девять часов вечера уверенно и деловито направился я на бульвар Гарибальди, где проживала госпожа Паули Шаубе. Я был в меру взволнован, как старые девы, которые каждую субботу, отправляясь в кинематограф, запасаются двумя носовыми платками. Слов нет: я был влюблен.

Кое-как разыскал я полутемную мастерскую, где прежде горемычный отшельник лудил ванны и паял мышеловки, расположенную вглуби жестокого двора, среди кегель, порожних бутылок и зобастых кроликов. Дверь была приоткрыта. Пока в соседнем чуланчике Паули возилась над чадной керосинкой, я мог разглядеть обстановку. Это было достойное хозяйки логово. Разбросанность жизни передавалась юбкам, холстам и тарелкам. Однако даже в груде окурков чувствовалась система. Подобный хаос создается мучительно, ценою бессонных ночей и роди-

тельских проклятий. Плешивая козья шкура одеяла посетителя липкими волосами и запахом потного седла. Мое сердце, как-никак знающее, что такое патриотизм с корнем „сов“, который в новом синтаксисе трактуется скорее как предлог, могло порадоваться: Георгий Победоносец в шлеме, то-есть красный воин, продукт кустаря, ознакомившегося с политграмотой, повторял апокалиптический жест. Выше, где отмирали мухи и рахитичный свет лампы, имелась живопись: святой Себастьян кисти зрелого экспрессиониста, сочетавший форменный околышек нимба с подозрительной позой светского мужеложца. Впрочем, обстановка меня не интересовала, тем паче, что в мастерской находилось живое существо — девочка лет четырех или пяти, задумчиво сосавшая указательный палец.

Я к детям отношусь скорее равнодушно, примерно, как исправный горожанин к явлениям природы, то-есть охотно соглашаясь, что они „очень, очень милы“, вместе с родителями расхваливая их сверхъестественную сообразительность, но все это в порядке житейского этикета. Они пугают меня — то обезьяны, то поэты-дадаисты, то хитроумные, хоть и сопливые ангелы — своей ничем не скрываемой карикатурностью. Наша всечеловеческая мерзость простиупает в них откровенно, без прикрас: подставить ножку, слизнуть у зазевавшейся старушонки яблоко, наябедничать, улюлюканьем облепить

безногого, негра, или же просто чудака. А в тумане душных детских, где воздух нежен и тверд от дыхания, от пульверизаторов, от горшков, от высоко поддерживаемой температуры, дабы зерно познания могло прорасти, мерещится мне извечный образ рукоблудия с его буддической слюной.

Но не такой была маленькая гостья этой пошлой мастерской. Она еще ничего не знала, ни шлема, ни нимба, ни цен на керосин. Чересчур большие для проекта лица глаза выражали прекрасное недоумение. Не будь моей влюбленности, не будь за стеной пыхтеня „примуса“, напоминавшего об учащем дыхании Паули, я бы долго простоял, глядя в ее глаза. Как хорошо понимал я это непритязательное удивление перед ходом дней, перед тиканьем часов, перед любым словом, любым жестом, я, маститый дылда, автор многих романов и ценитель телячьей головы. Может быть, мы с ней грустно поиграли бы, ладошами ударяя ладоши, может быть, пользуясь темнотой, и всплакнули бы. Милая девочка, она мне напомнила, что не только я слаб и беспомощен перед Луиджи, перед Пике, перед маршалом Фошем, нет, и она и многие другие. Тем лучше — значит это не паталогический казус, значит это и есть жизнь.

— Это девочка консержки, — не без досады определила мою новую знакомую вошедшая, наконец,

Паули. — У консьержки свинка. Это очень заразительно. Вот мне и приходится нянчиться с ней.

(Я же говорил вам, что у этой женщины была редкость нежная душа!)

Мы вышли. Паули хотела вечерней прохлады и элегических вздохов, неизбежных при такого рода прогулках. Это определяло и маршрут. Мы как бы перестали существовать и, ныряя в сладкую гущу французской литературы, нашли, что набережная Сены прекрасна, что серый дым собора нежен не менее наших чувств, что ничего нет осмысленнее и патетичнее сомнительного рыболова с затонувшей давно и удочкой, и душой, дремлющего где-то под офортной массой моста. Я знал все это назубок и выразительность пауз, и слова, и блики света. Однако это не мешало мне. В такой-то раз перечитывал я настольную книгу, с притворным и в то же время натуральным удивлением восклицая: „Вот что! Значит, героиня любит героя“. Разумеется, я при этом кокетничал. Помню — меня учили: глядите на нос, на предмет, в угол. Я приложил мудрую формулу к духовному миру: о моем вящем одиночестве, о тепле, о безусловном тепле соседствующей руки, о пустоте окрест, о пустоте издавна и вездесущей. (За „угол“ могла бы сойти и пресловутая „вечность“, но литературный вкус все же удерживал меня.) Все шло по-хорошему: вздохи, шаги, блики. Я описываю это сейчас с усмешкой: не месяцы —

горе прошло с той ночи. На самом деле, все было туманнее и, следовательно, милее. Ночь, что надо. Влюбленность, что надо. Вы все это пережили и, закрыв двери, можно признаться — от этого, как от супа и от слез, не уйти.

Сославшись на усталость, Паули остановилась. Мы выбрали скамью. Я был счастлив — помилуйте, в этой книге на известной странице скамья, — обязательная героиня, буро-зеленая, морщинистая скамья, приют романтических нищих и экономных любовников. Как хорошо, что мы не остались в мастерской, что еще много метров, может быть, и часов отделяют нас от лаконической цели! Дело шло к поцелуям. Я снял каскетку и сказал что-то сопровождающее, кажется, о пароходном гудке. Тогда Паули восхитительно поникла. Ее голос отделился, он стал телефонным — сквозь гуд и даль.

— Воды! Это сейчас пройдет. Дайте мне только стакан воды.

„Так умеют любить одни немки“ — классически и сентиментально мог бы подумать я. Впрочем, для сравнений времени не было. Речь шла явно не о черной Сене. Удовлетворенно ощупав жилетный карман, где горбились франки Луиджи, я подал Паули руку. Все как полагается — я веду даму в кафэ.

Тусклое кафэ, таких тысячи, с пыльной иерархией бутылок, с суконными ковриками, на которых

ссорятся разномастные короли, с апоплектическими затылками monsieur такого-то и monsieur такого-то, пыльный аквариум, где изо дня в день плавно кружатся и шуршат плавниками, от школьной скамьи до похоронных дрог, владелец молочной „Масло Нормандии“ или письмоводитель „Парижского Учета“, где ждут девятки, обижаются на прекрасных валетов и полощут вставные челюсти мятной настойкой. Как в каждом кафе, нашелся и в нем угол потемнее, отведенный под заплаты и под поцелуи, куда предупредительно загнал нас, хоть кривой, но догадливый лакей.

— Лимонад, Паули? Вино?

— Нет, если можно, кусок хлеба. Маленький. Если это не стыдно, попросите, пожалуйста, кусок хлеба.

Так началась разгримировка. Что же, хорошо, когда барышня, чирикавшая под святым Себастьяном, оказывается беззащитным зверком, а истома из желтенького романа простецким голодом. И на том жизни спасибо. Она сегодня ничего не ела. Ей очень стыдно. Может быть, и мне стыдно, что я пришел с такой дамой в кафэ? „Кусок хлеба“! Поглядите на презрительно сжимающийся глаз лакея; один глаз способен выражать столько чувств. „Хлеба“! Красавица-нива, о которой зубрят стихи в школах, россыпи караваев — это золото бедняков, отчаянно и нежно хрустящая корочка, последняя

корочка — они все обедали, они забыли стихи из хрестоматии, они ничего не понимают!..

Паули ела. Паули приходила в себя. Однако она не пробовала больше прикрываться ссылкой на ночные причуды или переселением душ. Какая все же иллюзия адреса, звонки, дружба, количество подъездов, окон, костюмов, зрачков! Бедные Робинзоны, жалостливо мы машем сигнальным шестом и нет ни потного ласкового Пятницы, ни руна козы, ни щебета попугая, ничего, только астрономическое небо, счет франков и одиночество. Теперь, когда я пишу эти строки, вокруг меня пусто и просторно, много воздуха, много голой и неуступчивой черноты октябрьского вечера. Я вспоминаю тот вечер в кафе, покер честных негоциантов, крошки хлеба, глаза Паули, горе. Я забываю о своих обидах. Что она могла против жизни?..

Трудно понять, чего именно стыдятся люди, почему оскорбителен тот же хлеб, среди козырных карт и мяты, почему сейчас я хочу стилистическими изворотами хоть несколько скрыть взволнованность дыхания, почему Паули, щеголявшая гадким шарфом и жалкими приставаниями к подозрительным знаменитостям, голубоглазую девочку, пусть на словах, подарила, больной свинкой, консьержке? Разве не прекраснее всех световых реклам были те недоуменные глаза? Они не обещали ни лучших в мире папирос „Абдула“, ни бессмертия потребителям

„Дюбоннэ“. Они только спрашивали. А обсосанный палец, ей-ей, был он слаще всех леденцов, да, всех леденцов нашего сладкого детства, слаще карамели „короля Сиамского“, слаще „раковых шеек“, „дюшес“ и „безэ“. Но ванночка, в которой надлежит обдавать мыльной пеной розовое тельце, никак не сочеталась с письмами к Фреду. Только теперь, среди семейной простоты темного угла, над крошками хлеба раскрылось все: это ее дочка, Эдди, милая Эдди!..

Легче было, разумеется, утаить, нежели выходить. В голодную берлинскую зиму, когда по ночам на углах толпились маргариновые призраки, готовые не то разгромить булочную, не то инсценировать для американской киносъемки пуританское светопредставление, когда на деревянных лошадках цокали по загаженным панелям фельдмаршалы в карнавальных приставных носах, а инвалиды костылями выстукивали не то „Интернационал“, не то „шимми“, когда хотелось жрать, выть и кувыркатся под злыми ветрами Балтики, в ту памятную зиму к наивной немочке приходил, не знаю наивный ли, немчик, и сахариновая химическая любовь заменяла все, вплоть до жара едва теплых, старческих вен центрального отопления. Весною, однако, неизменно появляется солнце, оно не признает катастроф. Помню талые лужи в Москве 1920 года, помню и то тепло, равнодушное, почти враждебное берлинского

принижения. Так и Эдди. Ее набухание, толчки, прорыв не зависели ни от зимних шопотов, ни от столкновения комет, ни от выставок „Штурма“. Когда же она стала весомой, о чем свидетельствовали прежде всего весы-корзинка в соседней аптеке, куда добросовестная Паули носила пискливый пакет, как будто этот груз измерялся легкими фунтами, а не тоннами боли и счастья, когда стала она не истерикой беременной женщины, но самостоятельным и достаточно настойчивым плачем, тот, большой, не наивный, нет, далеко не наивный, сказал:

— Это все-таки пакость! Я понимаю любовь в космосе, вечную динамику, треугольник чувств. Но ты никогда не свяжешь моей души бургерскими пленками.

Он оставил на память коробочку дамских папирос „Саламбо“. Куря их, Паули мечтала о картошке. Я не хочу философствовать здесь над дороговизной масла, но, слов нет, Эдди давалась с трудом.

Конечно, Париж доподлинная столица, конечно, в нем живет Пабло Пикассо, как фонтан подростого Вавилона бьет Эйфелева, находчивостью Ситросна обращенная в огненный столп, конечно, в нем, именно в нем спиралями кружатся американские „герльс“, вырабатываются линии эпохи и линии подвязок, все в нем — мотыльку выбора не было. Но есть и другое, хотя бы дешевенькие ручки зонтиков, изготавливаемые сотнями тысяч для экспорта

на невзыскательный вкус каких-нибудь скандинавов, если не кафров. Вот и для Паули нашлось дело. За раскраску каждой ручки платили три с/. Пыхтела керосинка и маленькая Эдди марала слюнявку. Двенадцать часов работы, жуки, украшавшие зонтики, спирали маячащих где-то вблизи и незримо „герльс“, наконец, слезы, банальнейшие бабьи слезы выедали глаза. Так появлялась нелепая козья шкура. Так писались письма Муссолини. Так выпал и Луиджи, фантаст, губы которого умели, как известно, дрожать под различными фонарями.

Было это в кино. Упрямый губастый апаш похитил сиротку. Свадьба на карусели. Всхлипы шарманки, мировой плакальщицы, для которой одно — века и народы, „Шуми, Марица“ или фокс-трот, все — суета сует, шарманки, способной довести до слез даже ночных сторожей и дворовых псов. Тени, только тени быстро вальсирующих деревянных лошадок. Скорее! Скорее! Это ведь праздник! Это ведь счастье, сусальное, шарманочное, человеческое счастье! Губастый хохочет. Губы его дрожат, скрипят, несутся, как тени карусели. И вот среди вращения, среди света, среди сотни метров веселия — слеза похищенной сиротки. Здесь Паули не выдержала, она расплакалась, хоть было это стыдно, стыдно, как крошки хлеба, как каша Эдди, стыдно, как жизнь взаправду. Тогда близко, рядом с ней, дрогнули губы, не на экране, нет, возле губ Паули.

Каким огромным солнцем должна казаться мотыльку жалкая лампочка, под которой дремлет, разморенная жарой и разлукой с милым, стряпуха! Луиджи называл себя „анархистом“. Он не плакал от теней деревянных лошадок. Он плевался. Он знал что делать и как жить. Он знал, например, что хочет чувствительную подругу. И четыре дня спустя Паули стала ею.

Дойдя до этого, она замолкла. Что ей было еще добавить? Что Луиджи не солнце, что он тоже не знает, как жить? Что жизнь с ним — это ручки зонтика, по три су за надоедливого жучка? Что не легко дается страсть мимоходом и ревность из „хроники происшествий“? Об этом говорили только глаза и темь, душная темь угла, отведенного под заплату и под объятия, темь, наполненная частым дыханием, словами „милый“ или „дай сорок су“, отчаянием.

Обличать Луиджи? Нет, она не пойдет на это. Он тоже несчастен. У него на ногах большие желтые когти одинокого зверя, а в сердце тоска по убитому брату. Все мы, все, как один!..

И Паули ласково погладила мою руку. Здесь произошла вторичная перемена. Картежники на нас не глядели, да и гляди они, все равно происшедшее осталось бы незамеченным. Я ведь не наклеил бороды, я даже не снял каскетки. Но с Паули сидел не завсегдатай „Ротонды“, привыкший пре-

небрежительно попыхивать трубкой, среди пивных кружек и споров об искусстве, не автоматический ловелас, еще недавно мечтавший меланхолической беседой приятно предварить несколько опостылевшие поцелуи, не писатель, который наметал и душу и „стило“ на выискивание всего злого, всего подлого, что есть в нашей жизни, присяжный остроумец на гастролях в чеховских захолустьях, нет, каскетка, тень в углу, бедный человек, кое-как проживший тридцать пять лет, готовый все отдать за толику тепла вот этой перепавшей и на его дело руки, отдать ничего не способный, кроме разве немоты и угрюмых ломовых толчков вконец заезженного сердца.

Несвязные воспоминания одолевали меня. Тюремный надзиратель и камера № 71. Я наказан — без прогулок. Восемь минут ветра и игрушечной свободы отняты за какой-то капризный жест. Старый надзиратель тихонько выпускает меня в коридор, сердито бренча ключами и сердито, ах, как сердито кашляя, подводит к окошку. Дворик, большое солнечное пятно, чьи-то ребята, чахлый крыжовник у стены:

— Подышите. Нельзя ведь без этого...

Париж. Ночная работа. Старик француз обматывает меня своим кашне: холодно. А ему?..

Крым. У жены сыпняк. Ночной верховодит миром норд-ост (здесь зовут такое „мистралем“). Доктор

сказал: „умрет“. Просто и ясно — наука. Жалко, через силу улыбаясь, Ядвига говорит мне:

— Это неправда. Она выздоровеет.

Киев. Я — нелегальный. Ночевок нет. Нет и денег. Холод январской гололедицы, когда мерзнет сердце, а ночь выжимает из него слезы — иней ресниц. Я хожу взад и вперед по Бибиковскому бульвару. Навстречу мне, так же мерно и глухо, замерзая, с белыми ресницами и темным сердцем ходит девушка. Она ищет. Летний синий костюм. Открытые туфельки. Наконец, отчаявшись найти лучшее:

— Пойдем.

— Ни копейки.

— Все равно. Согреемся. Чаю выпьем.

Мы пьем чай. Ее зовут Рива. Веснушки, заштопаные чулки, щедедушность золотушного подростка. Потом она растает с теплом чашки, гревшей нестигающиеся пальцы. Она снова уходит на бульвар. Возвращаясь, она удачно улыбается — сзади калошами топчет дородный подрядчик с Подола. Я остаюсь в передней. Час спустя подрядчик кричит:

— Рива, мне так сладко и грустно, как будто я сахару скушал. Это твой граммофон? Не твой? Хозяинский? Все равно. Поставь мне „Кол-Нидре“!

Хрипит рупор. И, надрываясь, кантор, какой-нибудь курчавый чудак, молит в „день суда“ не судить, нет, не судить, лучше простить без суда.

Ведь сладко и грустно человеку, скушавшему сахар за ситцевой занавеской, на которой круглый год цветут пионы. А Рива выбегает ко мне.

— Ты такой худой, ты совсем как цыпленок...

Она дает мне тридцать копеек и коробку папирос, толстых, „высший сорт А“ — их курит подрядчик. Она гладит мою руку, как Паули.

Да, я говорю об этом прямо и не стыжусь. Без этого нельзя — без восьми минут солнца, без чужого кашне, без глупой надежды, без папирос Ривы, нельзя без тепла, никак нельзя. А с ним? С ним тоже нельзя. Впрочем, об этом после.

Так, роясь в душном и вшивом тряпье прошлого, я и не заметил, что мы вышли из кафэ, что козыри лавочников сменились новыми согладатаями: звездами автомобилей и полицейскими пелеринами. Я очнулся только у дома Паули, вспомнив, как я шел сюда, блудливое трепыхание в темной мастерской и недоуменность маленькой Эдди. Мне стало стыдно, очень стыдно. Тогда-то — так всегда бывает — это не только история лежачего, которого обязательно бьют, это также история зайца, нашедшего лягушку, тогда-то Паули с истерическим возмущением заявила мне:

— Вы меня накормили. Вы можете потребовать, чтобы я с вами спала. Дешевая оказия!

Я закрыл глаза — спасибо векам — они позволяют хоть что-нибудь утаить — и тихо безлично простился.

ПОСЛЕДСТВИЯ УМИЛЕННОСТИ

Я остался на окраинной улице, один, с фонарями, с двадцатью франками (остаток аванса за Пике) и с несколько разжиженной прощанием умиленностью. Впрочем, мне было суждено потерять и это. Началось с фонарей. Время вывело на сцену зловещую фигуру человечка в черном балахоне, с длинным крючковатым шестом. Быстро перебегая с одного тротуара на другой, он давил огни, давил этих золотых жучков, невыразимо сладострастно, как чиновник и как убийца. Вдоволь расстроенный предшествующим, я хотел ущемить этот черный балахон, но сдержался. Разве можно идти против времени? Покер ведь давно закончен, и все уважаемые граждане видят во сне козырные тузы.

Вслед за этим я лишился и богатства. Двадцать франков сулили еще день, другой, полный бутербродов и грез. Но сумасбродство второго часа пополуночи решило иначе. Поравнявшись с сонным автомоби-

лем, лениво храпевшим, я неведомо зачем, как ленивый кутила, развалился на кожаных подушках. Куда? Все равно!.. Шоффер понял заказ. Он многозначительно, как заговорщик, улыбнулся. Мотор не спешил — кроме двадцати франков мне предстояло ведь потерять и наработанную в темном углу нежность.

На беду шоффер оказался русским, с рябинками и растерянным гонором доброго кадрового офицера. Господин Сергеев. Хорошо, пусть Сергеев. О, я отнюдь не обрадовался любезному землячку! Неизбежность душевных выделений еще ниже пригнула козырек моей каскетки. Я пробовал усиленно пыхтеть трубкой, кашлять, даже дремать, но, разумеется, все эти домашние уловки оказались недействительными перед словоохотливостью, диктуемой ночью и ностальгией.

Видите ли, дня три тому назад его нанимает некто худой с чемоданчиком: „Рю Гренелль, Амбасад Рюсс“. А что в чемоданчике? Может быть, в нем запонки господина Сергеева? Изумрудные запонки с розочками. (Конечно, это не буквально, это блистательная аллегория, это о так называемой революции.) Кадровый офицер может дойти до нищеты, но сохранить достоинство. Катастрофа еще не смена вех. Так, например, в Варне ему пришлось за весьма скромное вознаграждение хлестать дамскими подвязками щеки некоего таба-

ковода. Это тяжелый труд, но это не измена родине. Другое дело возить большевика. Что же, он нашелся. Он крикнул: „Никакого Амбассада нет, а только воровской притон и застеночные пытки!“ Тогда тот, худой, струсил, чемоданчик — на землю и оттуда посыпалось жидовское барахло. Например, грязные носки. Хоть несколько господин Сергеев себя утешил.

„Таксишка“ скверный. В такой не садятся. Но разве в этом дело? Беда исключительно от избытка чувств. Он летает над городом, как демон. „Печальный демон, дух изгнания“... А выразить не на ком. В Крыму все же было значительно легче. Хотя бы случай с братом. Талантлив был этот брат до нервоза. Ночи напролет играл, все сонаты или прелюды, играл, плакал и пил коньяк — бутылками. Господин Сергеев от музыки тоже сходит с ума. Стрелять в потолок хочется. Когда он узнал, что брата в Москве латыши расстреляли, началось. Это можно сравнить только с солитером. Поймали зеленых. Хоть не те, все равно... Бог ты мой!.. Руки устали. А сердце? Нет, в сердце пасха „красная пасха, всем праздникам праздник“.

Здесь — таксометр и одиночество. В „Мулен Руж“ голый негр за сорок франков каждую ночь плачет над тыквой. А господин Сергеев стоит на углу и задыхается. От астмы? Нет, от злобы. Хорошо бы того с рю Гренелль переехать, чтобы

он прыгал без ног на обрубках. Нельзя. Передешь собаку и то протокол. Он вот меня „проемунирует“, а предпочел бы в Сену. Это такая пытка, о которой и в газетах не пишут...

Есть в Париже ресторанчик на рю Брока „Казак Фидель“, там борщ двенадцать су, а за куверт вовсе не считают. Зайдешь и вдруг звуки — это подпоручик Шведов играет на кларнете. Потом обходит с тарелочкой — до пяти франков ему удастся набрать. Но какую же он печаль наводит на господина Сергеева! „Распошел“... И когда это было? Нет на свете ни музыки, ни цветников, ни любви.

— Приехали...

Я как бы очнулся. Пока длилась тривиальная исповедь злосчастливого меломана, я не замечал ни оливковой мути улиц, ни световых взрывов, ни звезд — этих небесных провинциалок. Уныло мотался я по огромному зеленому пятну школьного атласа. Что поделаешь: это — свой, доморощенный, сызмальства знакомый, как „харканье“ или как „харч“. От этого не уйти. Так принимаешь все: и загнанную, в мыле, „мать“, и полысевшего от скуки „чорта“, страну, вдохновенно выдуманную христосование, Смердякова, управу на конокрадов.

Нет, не хочу я знаться с этим музыкальным пачкуном! Пусть станет все историей. Играйте в футбол, октябрята. Читайте Безыменского и „Месс-Менд“, пионеры. Изучайте электротехнику, комсо-

мольцы. И давайте, условимся, сочтем моего дешевенького демона за внетерриториальный призрак того часа, когда задавлены все огни, закрыты все подъезды, и только два пути остаются: один — к небесным провинциалкам, другой — на дно темной Сены, полной вульгарной поэзии и тучных нечистот.

Что значит, однако, этот возглас — „приехали“? Ведь я не называл адреса. Темный подъезд ничем не отличался от соседних, дыша тайной снов и бессонниц, тайной четырех чужих стен. Куда же завез меня болтливый шоффер? Может быть, на монархическое собрание, где — мечта директора паноптикума — восковые лысины наливаются вишневым соком, те или иные валики изрыгают „ура“, стынет чай с лимоном, бессменно царит император, а старая „тант“, упуская петлю, во сне видит гусарский рай?

Впрочем, как следует задуматься я не успел. Господин Сергеев деликатно, однако, настойчиво втолкнул меня в подъезд. Мы прошли во внутренний дворик, где воспаленно, как им и полагается, моргали окошки флигеля, не паноптикума, не гусарского рая, не дома для умалишенных, нет, банальнейшего заведения m-me Софи, а может быть m-me Мари, во всяком случае элегантно особы лет пятидесяти, твердо знающей, что такое чистая любовь и высокая валюта.

Чинно улыбаясь, сидели девушки у стен. Им было запрещено заговаривать с посетителями. Не

будь они догола раздетыми, я бы подумал, что это неурочный экзамен в колледже. Чувствуя некорректность одежды, некоторые гости расстегивали жилетки и щеголяли то изумрудными, то фиолетовыми подтяжками. Подметив мою растерянность, m-me Софи (или m-me Мари) сердобольно сказала:

— Наша такса семьдесят пять и шампанское не обязательно.

Я стал пробиваться к выходу. Не бедность гнала меня из этого уютного флигеля, иные, чисто лирические позывы: после встречи с Паули я хотел темноты, звезд, может быть, звуков пошленького фокс-трота, вместе с медяками выпадающих из ночных баров на водянистый асфальт проспектов, словом любой, хоть третьесортной романтики. Господин Сергеев, видимо, думал иначе. Он во что бы то ни стало хотел удержать меня. Пошущукавшись с элегантной особой, он стал быстреньким шопотом отвратительно щекотать мое ухо.

— Для нашего брата, для русака — та, видите, толстенная, вроде мопса. Душу щемит, как степь. Валяйте!..

Увидав, что и эта поэтическая справка не помогла, он вывел меня в соседнюю комнату. Я увидел нечто омерзительное и трогательное. Среди зелени и полевых цветов, под глухим светом бударного фонарика, стояла коза, обыкновенная коза,

та, которой надлежит оживлять пейзажи Клода Лорена и давать детям сладкое молоко.

Я ничего не понял. Очевидно, столь же мало понимала и коза, ибо ее отрывистое, жалостливое блеяние неизменно заканчивалось вопросительным знаком.

— Что это?..

Осклабясь, шоффер показал мне на стены, покрытые непотребной росписью. Среди лоз, голых тел и стилизованных копыт, я прочел сентенцию: „Здесь любят дерзко и самозабвенно, как в Элладе“. На этот раз господину Сергееву не удалось удержать меня. Он вышел со мной.

— Не понравилось? Жаль. Я ведь говорил вам — „таксишка“ ерундовый. Не хватает... А здесь мне двадцать процентов дают. Иной раз только на обед и выработаешь. Как же жить? Ведь не единым хлебом жив человек. Я о козе не говорю. Коза — это изыск. Но вы думаете с тем мопсиком мне самому не хочется?.. Вы — компатриот, а меня подвели. Ну, бог с вами!..

Я заплатил ему за проезд. Но он никак не хотел со мной расстаться.

— Зайдемте в бар! Нельзя быть бесчувственным. Конечно, марка моя невысокая, но человеческое горе чего-нибудь да заслуживает. Рюмочкой, что ли, угостите. Я согреюсь, не спиртом — обществом.

Вы, разумеется, уже успели заметить, что твердостью характера я похвастаться не могу. Однако в другое время я все же уклонился бы от этого лестного приглашения. Но чувствительная бстолочь той ночи лишила меня последних примет воли. Прикосновение руки Паули оказалось тлетворным — по ночным улицам плелись килограммы мяса и железа для выработки слез.

Но не в слезах нуждался шоффер. Вероятно, он приписывал мою нерешительность проглочнным где-то коктейлям и хранил наивнейшие иллюзии касательно содержимого моих карманов, вмещающих, кроме восьми франков, только крошки хлеба да табачную труху. В мрачном баре, куда мы зашли, он заказал двойные порции рома. Пьяная проститутка, дряхлая и патетичная, как собор Нотр-Дам, заунывно пела: „Я маленькая девочка и я пасу гусей“...

— Сыграем в кости на следующую рюмку, — предложил шоффер.

Ром мне не пошел впрок. Я стал еще грустней, еще послушней. Отвратителен и четок был стук костяшек, падавших на цинк стойки. Он превращал это, и бсз того невеселое, место в кладбищенский закоулок. На беду мне везло. Меломан злился, пил ром и не платил, все надеясь отыгратсья.

— Проклятое колесо! Говорят, что писатель Конак-Дойль показывает на экране тени умерших.

Я думаю, что и я такая же тень, что на самом деле я умер, давно умер, еще в Крыму, при эвакуации. А теперь ходит тень, управляет „таксишкой“, пьет ром. Просто, как высшая математика. Кстати, хотите Лелю? Я повторяю вам — мне деньги чрезвычайно нужны. Вы вот грязный человек. Да, да, не спорьте! Девочек вы не захотели, к честным женщинам льнете. А по-моему, порядочные люди в б. ходят. Прочее одно похабство. Но только обстоятельства не шутят. Хозяину, например, третий месяц уж не плачу. Словом, предлагаю вам Лелю. Запросто и с гарантией. Как-никак — жена.

Здесь, наконец-то, нашел я в себе силу для отталкивания. Я отдал все мои деньги хозяину бара и вышел.

— Вы без красоты человек. Вы, навернсе, большевик. Или вроде. Я это сразу почувствовал. Глаза у вас жестяные. Я, откровенно говоря, вас с удовольствием задавил бы. Нельзя. „Перми“ отберут. А жить как?.. Леля! Лелька!..

Из-за угла показалась женщина. Я успел заметить только зрачки, огромные и беспомощные, зрачки очень близоруких детей и бляевшей во флигеле козы. Шла она, слегка шатаясь — от вина? от голода? от печали? Господин Сергеев горланил:

— Ни черта не вышло. Большевика подцепил. А музыка? Нет, Лелька, на свете музыки!..

Я шел долго, с трудом шел. От напряжения сердце подымалось высоко к горлу и там неуклюже, громоздко, как ломовая телега, грохотало: так, так, так. Обыкновенные прямые улицы изгибались то крутыми подъемами, рождающими одышку, то опасными спусками, где надо вымерять каждый шаг, спусками, от которых отмирают ноги, неспособные вынести пудов потного мяса и градусов угла.

„Я маленькая девочка и я папу гусей“ — это престарелая потаскуха шла за мной. Я готов был свалиться от усталости. Я взял ее под руку. Откуда это? Зачем столько усилий? — подумал я. И вспомнил — ах, да, чтобы жить!..

МЕНА

— У Паули — Диди. Через нее...

Недолгий жидкий сон, полный ожидания, мерки часов и получасов, прегадких ассоциаций, в виде стада гусей, гусиных же паштетов, ночных чепчиков, трюфелей, смердения кладбищ попроще, перекапываемых каждые пять лет, дешевый сон после дешевой жизни был прерван этими словами.

Я тупо натянул на себя штаны и спросил:

— Значит, это решено?

Фантаст пренебрежительно усмехнулся. Он не отвечал мне, он беседовал сам с собой, деловито и патетично, входя во все детали намеченного убийства. Сидя на табурете и глупо болтая босыми ногами, я слушал о том, как я живу, действую, кокетничаю с Диди, любезничаю с Пике, предлагаю ему папиросы, нажимаю, да, да, определенно что-то нажимаю, и вот уже нет Пике, исчезает этот призрак, нераздельно мною владеющий. Луиджи объ-

яснял мне это с поразительной точностью. Так учат писать на пишущей машинке — четвертый палец левой руки нажимает буквы „ф“ и „у“. Человека легко убедить во всем. Я твердо уверовал, что меня нет, что я некий инструмент, ловкая выдумка строителя автоматов, что сделан я точно и обдуманно для уничтожения Пикс. Нет, даже не для уничтожения, а для нажатия, столь же точной как и я, вещицы, которую всунет в мой брючный карман губастый пришелец.

В таком положении глупо было бы говорить и я деликатно молчал. „А переживания?“ — спросите вы. И с негодованием откинув книгу, произнесете приговор: „Вот уже восьмая глава, а нет ни характеров, ни действия, ни психологии, только скучное бормотание вконец исписавшегося автора“. Что же, расстанемся на этой, по счету восьмой главе. Я вам не обещал занимательного романа. Конечно, кой-какой опыт имеется и у меня, я мог бы легко приукрасить эти унылые страницы невзыскательной зарисовкой того же Луиджи („тип“), борьбой во мне благородства и подлости („психология“), наконец, кинематографическими трюками, как-то: погоней, спасением и неожиданными встречами. Но я хочу быть честным, тошнотворно честным, как народник из богадельни. Я не знаю людей, с которыми я жил. Они душили меня горячим мясом ладоней и плеч, оставаясь, однако, сомнительными призраками. Я и

себя не знаю. Кто же не оглядывастся с неприятным удивлением на свое случайное отражение в уличном зеркале? Так и я вспоминаю — табурет, босые ноги, вещь, которую надлежало нажать. Я ли это? Или тоже фантаст, как Луиджи, как господин Сергеев, как гнилая пастушка предполагаемых гусей, дышавшая на меня древностью и мукой? Было ли это лето, жаркое, сальное, черное, как деготь, или только приснилось мне оно? Я кладу перо в сторону, добросовестно пытаюсь я учинить себе допрос и плошаю. Пусть судят другие, пусть сведущие спецы ответят мне, почему все описываемые события, лица, даже вещи вплоть до портрета маршала, вплоть до лососиновой грязной перины, призрачностью и ватной тяжестью напоминают не явь, но сон?

Отступление, однако, затянулось. Сколько же ему было наставлять, а мне болтать ногами? Уже полдень давал о себе знать говором рабочих, спешащих домой или в харчевни и неизменным ароматом подгорающего маргарина. Я плеснул на лицо струю тепловатой водицы, тщетно ища в ржавом тазу свежести и забвения, прилежно завязал галстух и попробовал улыбнуться.

— Хорошо. Я нажму. Ты не беспокойся. Если я, если Паули, если Диди, — мы с ним расквитаемся. А теперь угости меня, друг, пиконом. Сто франков, увы, кончились, а ты... ты ведь управляющий баром!

Уверенные в себе люди, люди часов и дела пуще всего боятся мелких случайностей, прерывающих размеренный ход дней: с утра заявятся гости, или вдруг перестанет работать электричество, или придется менять комнату. Когда я был писателем, я тоже недолюбливал подобные вмешательства, по существу очаровательных, пустяков. Не то теперь — все, что могло увести меня от заданного хода мыслей, от жилета Пике или от браунинга, казалось мне нечаянной радостью, как панихида по Боголепове, или рождение престолонаследника в давние гимназические годы. Но никакие гости, никакие переезды не могут сравниться с действием алкоголя, принятого натошак. Стоит проглотить одну рюмочку и вот уже неясно — утро ли это, вечер ли? В темном кафэ солнечный свет таинственно смешивается с дрожью газа. Женщины несут в кулечках розы и веселье. Можно помахивать бильярдным кием или танцовать. Лежащая рядом газета крупным шрифтом объявлений говорит о незаменимых для кейфа креслах или о креме „секрете вечной молодости“. Я смеюсь. Я не знаю, кто я. Я чешу дородной кошке затылок и за нее же мурлычу. Вы можете меня презирать — эта свобода стоит пятнадцать су. Но не всем дано быть философами, которых раскрепощают логос или зрелище светил.

Пил и Луиджи. Но он от спирта мрачнел. Тщетно пробовал я развеселить его глупыми анекдотами

или затылком кошки. Выпив третью рюмку, он ощерился.

— А тебе Паули как?.. нравится?

— Очень. У тебя замечательная подруга, Луиджи. Тебе повезло. Это, пожалуй, лучше, чем бар на улице Шатоден. Я думаю, что, когда такая женщина гладит руку, можно от счастья заплакать.

Как видите, я был щедр на комплименты. Однако я не учел многого. Мог ли я предполагать, что у фантаста, помимо неуловимых губ и стразов, имеется грузное сердце, ком мяса, превращающий даже философа — созерцателя звезд в бешеного зверя? Луиджи не поблагодарил меня. Нет, смахнув со стола плаксивую рюмку, он закричал:

— Глупости! Ты просто не разглядел ее. У нее кривые ноги, как у немецкой таксы. Этот ангел любит есть до отвала блинчики и лапшу. А потом храпит. „Руку погладит“... Дурак! Да ее за шелковые чулки купить можно.

Я хотел возмутиться. Напоминаю, ведь я был в Паули влюблен. Правда, чувства мои не отличались чрезмерностью. Но нападки Луиджи все же требовали рипоста. Последняя фраза, однако, меня смутила. Я вспомнил тяжелое расставание и предложение Паули, которое тогда показалось мне абстрактной обидой. Может быть, это являлось только пресловутой немецкой честностью? Тогда... Так от высокого парения быстро перешел я к утрирован-

ной пошлости. Тогда почему я не воспользовался этим? Хлеб и кофе — не шелковые чулки. Чулки должны стоить теперь не менее тридцати франков. Впрочем, в ту минуту мне пришлось заняться не Паули, а моим собутыльником. Он вел себя вовсе неприлично, грубо ругался и хохотал. Чтобы не перечить ему и общностью суждений скрепить нашу дружбу, я поспешил осудить Паули:

— Рот у нее действительно порочный. Я не хотел говорить тебе об этом. Но ты ее брось. При том она жирная, как бабочка. И шарф у нее противный. Ты теперь здорово зарабатываешь. Подыщи себе какую-нибудь высокую и рыжую. Или мулатку. У мулаток, наверное, замечательное сердце. Как ночь. Или как кокосовый орех. А Паули...

— Молчи! Как ты смеешь говорить о Паули? Я могу с тобой говорить о Пике или о Диди, но не о Паули. Я ни с кем не могу говорить о Паули. Но мне нужно говорить о Паули. Только о Паули. Хотя бы с этой бутылкой. Хотя бы с тобой.

Он налил себе еще рюмку. Я отказался. И без спирта я был переполнен тоской. Мне мерещился автомобиль и недоброкачественная исповедь любителя музыки. Что за судьба — мало мне своей боли — ежедневно с аккуратностью аппарата Морзе или больничного ассистента принимать томительную неразбериху чинно проплывающих по улицам и с виду обыкновеннейших пиджаков?

Он должен мне это сказать. Фантазии здесь не при чем. (Вот вам фантаст!) Когда в Фонтенебло он выудил у того идиота восемнадцать билетов, Лина призналась — „деловой человек“. Никаких чувств! При чем Лина — „звезда“, ее лицо на афишах в красках. И что же? Она пробовала щекотать под столом его ногу. Он не поддался. Если бы воля помогала, он бы не знал даже, как зовут Паули по имени. Когда он в Реджио прикончил Барзини, разве он плакал? Ножа было жалко. И только. Если на другого не наплевать, он сам на тебя наплюет. Это вопрос ловкости. При чем же тут женщины? Он двадцать семь лет прожил хоть впопыхах, но без отступлений. Спать за чулки или просто за десять лир, это другая стихия. Вот выпьет пикон и даст на чай. Кто же из этого трагедию сделает? Кто начнет актерские рожи строить? Кто, наконец, засунет дуло в глотку? В Генуе восемнадцать улиц с „домами“. В одном — „Маленькая Роскошь“ — только мулатки. „Кокосовый орех“! Да он эти орехи сотнями щелкал. А дальше? Идет под утро, свистит — и пил ли, спал ли, или просто по улицам шлялся — неизвестно. Зачем же он приехал в Париж? А началось с пустяка. Он даже не заметил толком кто и что. В кино. Он угостил ее пралине и чмокнул. От темно и от фильма. К содержанию. Как же Паули им овладела? Он ходит спокойный, думает о деле. Идеи давно разрушены, но счета за прошлое все

налицо. Вот тот же Пике. О ней он даже не думает. Случается, он по пяти дней ее не видит. А потом вдруг войдет в голову, — что, если она сейчас с кем-нибудь целуется? Как кипятком. Все бросает. Автомобиль. Бульвар Гарibaldi. Скорее! На чай. Здесь? Здесь. Одна? Одна. Ушел? Кто? Не пришел еще? Вот тогда, тогда он и ложится на пол у ее ног — „скажи правду“. Я должен это понять. Метр семьдесят семь росту. Не плохо боксирует. Свободный человек. Анархист. И вот скулит, как щенок в мелодраме. При чем актер получает выходные. А Луиджи?.. Абсолютная неизвестность — живет Паули с кем-нибудь? Не живет? Откуда он знает? Не может же анархист стать сыщиком. Пулю внутри обнаруживают лучами икс. А ложь? Что он видит, кроме шарфа и керосина? Иногда ему хочется поехать в Берлин, разыскать того немчика и высечь его. Или нет, не высечь — взять его за руку и сказать: „Надули нас, дорогой предшественник, надули, как американских туристов“. Вот, извольте определите, что это?..

Так повторялась история с Паули. Призраки принимали домашние позы, они требовали хлеба и участия. У той оказались голод и дочка, у этого банальнейшая страсть. Значит они живые. Значит они люди. А я? Тогда я только захолустный паршивый призрак, кечисть, которая заводится в кафэ, среди табачного дыма и паутины тройных зеркал,

— Видишь ли Луиджи, все это весьма просто. Это называется ревностью. Каждый день в Париже кого-нибудь убивают. Разверни газету, и ты обязательно прочтешь об этом. Это во сто раз понятнее истории с Пике. Если мы уже занялись философией, объясни мне, почему я должен убить этого почтенного гражданина? Ведь я к нему никого не ревную. И потом одно из двух — или обыкновенные человеческие чувства, или Пике и белиберда. Ты обязан дрожать под газовыми фонарями и подавать мне браунинг. Это твое дело. Но не ревновать. Что если я опомнюсь? У меня ведь есть жена, советский паспорт, литературное имя. Я тоже начну ревновать.

Но Луиджи меня не слушал. На мои абстрактные рассуждения об иллюзорности иных чувств и встреч он отвечал бранью. Он не понимал образов и сопоставлений. Отдельные слова, доходившие до его сознания, только усиливали пароксизм отчаяния.

Жена? При чем тут жена? Разве это спасает? Если он женится на Паули, разве он перестанет ее ревновать? Где гарантия, что я не могу сойтись с ней? Он ведь заметил, как я глядел на нее в ресторане. Здесь не философия, здесь как с Барзини. Словом, ему придется меня пристрелить.

День длился. Мешался свет солнца с газовым. Дрожали в такт свету губы фантаста. По столику

прошмыгнула черная вещица, которую должен был нажать не то я, не то Луиджи. Доносились гудки автомобилей. Однако обычная обстановка была чуть тронута мутным, я сказал бы, рыбьим налетом ожидавшегося события.

Облокотясь о столик, я тихо ждал. Убежать? Но ведь дорожи я подозрительным богатством остающихся лет, я не стал бы погонщиком баранов, я оттолкнул бы от себя жирную тень председателя „Лиги“, я бы разумно халтурил и ел рис с вареньем. Не все ли равно, кто и при каких обстоятельствах нажмет эту черную вещь?

Луиджи неистовствовал. От угроз он вскоре перешел к мольбам. Он заклинал меня сказать всю правду. Было ли у меня что-нибудь с Паули? Наверное, было — он это чувствует.

Тогда сострадание и брезгливость продиктовали мне героическую ложь. Я хорошо учитывал, что этим уничтожаю себя в его глазах. Но мог ли истукан, час тому назад покорно болтавший босыми ногами, заботиться о своем достоинстве?

— Слушай, Луиджи, я с женщинами не живу. Никогда. Понял?

Радость, как солнечный зайчик, пробежала по лицу фантаста. Потом он презрительно поморщился.

— Как это? Ты болен? Или болван?

— Не знаю. Занят другим. Когда тебе, например, хочется целоваться, я покупаю иллюстриро-

ванный еженедельник и решаю шарады. Или ем пирожные с заварным кремом. Или нажимаю часы „с репетицией“, чтобы они приятно звенели. Особенность.

Тогда Луиджи, несмотря на все мои протесты, налил мне пикона и, ласково похлопывая себя по ляжкам, сказал:

— Вот когда мне повезло! Я давно думаю о Пике. Но я боялся знакомить других с Паули. Ты — клад. Потом скажу тебе правду, я прежде жалел тебя. Схватят и конец. А теперь мне тебя не жалко. Что же такому человеку остается, если не смерть? Пей, дурачок! Пей! Мне тебя не жалко. Совсем не жалко.

Приветливо улыбаясь, со всей мыслимой искренностью я ответил:

— Мне себя тоже не жалко.

В ПОИСКАХ ЛАЗЕЙКИ

После этой встречи я заколебался. Я сказал Луиджи правду — себя мне не было жалко. Но отдельные минуты, как-то: редкий дождь, чуть умеряющий жар асфальта, услышанная на улице русская речь, наконец, просто хаотические воспоминания, с их смесью подлинных событий и литературного материала, образы еврейского поэта, прозванного „Шариком“, который спасает Жанну Ней или попугая жены „Жако“ (у нее никогда не было попугая) — эти вылазки из порохового безводного форта, именуемого парижским летом, рождали раздумья. Не бросить ли всю историю с Пике? Я могу переменить квартал, начать переводить для Госиздата Пьера Ампа и жить более или менее счастливо. Сторонники специализации назовут подобные раздумья просветлением. Они ведь знают, что писатель должен писать книги, Пике — заниматься политикой, а они, они — классифицировать способно-

сти и судьбы. Не знаю, правы ли они. Может быть, писать книги должны не литераторы, а убийцы, писателям же лучше понукать баранов или кротко сутенерствовать, нежели ругать издателей и обхаживать критиков.

Но я не стану обобщать — менее всего интересовали меня тогда подобные проблемы. Я думал об одном — стоит ли мне, вот такому, как я есть, кланчащему у Луиджи франк на пикон и все же способному переводить Ампа, стоит ли мне убить Пике? Мое недоверие к Луиджи родилось в ту минуту, когда этот фантаст обнаружил некоторые общечеловеческие черты. В душе я считал себя обиженным — как смеет клуб дыма обрастать мясом и семейными невзгодами? Может быть, все его рассказы о „Лиге“ — ложь, хитрая приманка, анархический грим на благодушной физиономии управляющего баром? Может быть, этот Пике — безобидный ловелас, чьи каштановые глаза и шелковые рубашки пленили доверчивое сердце нашей общей Гретхен? О, я не ревную! Немчик, Луиджи или господин Пике, милости просим! Я ведь получил все, что Паули могла мне дать — несколько минут нежности. Дальше начинаются слезы и подарки. Наконец, может быть, я стал игрушкой в руках какого-нибудь консорциума, желающего уничтожить опасного конкурента? Я строил различные предположения, терялся в догадках, пил пикон, ругал маршала Фоша,

но истины обнаружить не мог. Я даже поднял забытый на скамье номер газеты, надеясь найти в нем разоблачения господина Пике. Газета была переполнена и преступлениями на почве ревности и кознями разных консорциумов. Имени Пике в ней, однако, не было.

Посоветоваться? Но с кем? Где найти человека, вдоволь сведущего в политграмоте и способного установить социальную природу того, кто мнится мне лишь апоплектической тенью? Трудность усугублялась моей бывшей профессией, как бы раз и навсегда определившей выбор поступков, даже мест и лиц. Сколько раз слышал я: „Ах, вы едете в Италию? Наскребете там на роман“ или „Как вам нравится Клара? Лучшей модели не найти“. Важный консультант, к которому я обращаюсь, скажет: „Бросьте Пике, вы собрали уже вдоволь материала. Садитесь-ка за работу“. Стоп! Я знаю. Роман делается так... Впрочем, в Ленинграде живет гражданин Тынянов, он вам расскажет об этом. А у меня болит под ложечкой и мне предстоит убить Пике.

Тогда кто же?.. И вдруг — так из полуосвещенного партера, где столько-то голов, не голов, рядов кресел, номеров вешалки, из тьмы муравьиных куч и избирательного права, выступают чьи-то неповторимые зрачки — вдруг опознал я посланного судьбой советника — его нос (картошкой), оттороченные трудом ногти и семинарскую душу. Юр! Юр

выручит. Юр мудро рассудит мою тяжбу с фиолетовым незнакомцем.

Еще туман, хоть и далеких полян. Еще одно приведение в брюках и с удостоверением личности. Что делать? Я столько рук пожимал, но я не поручусь вам за их подлинность. Поглядите на спутников, индевеющих в вагоне трамвая, на флирт или на слезы восковых манекенов модной лавки, на ход приводных ремней и потных колес, вслушайтесь ночью в дыхание жены, в музыкальную агонию радиоприемника, в стук водяных капель рукомоёйника и скажите — как отличить правду добросовестного натуралистического романа от дикого вымысла сердца и ночи?

Скажу о себе — мне больно, неуютно и холодно. Но вы, грядущие читатели этой исповеди, — я вас не вижу, металлические шарниры ваших пальцев мешаются с тяжелым запахом свежей типографской краски. Иначе пахла жизнь этих глав: шерстью груди, кровью, слезами, грязным, непроветренным номером „меблирашек“. Дайте слово, что вы живые, что вы не перо рецензента, не каталог библиотеки, не партбилет, но обыкновеннейшие люди, несмотря на убеждения или стаж способные преглупо влюбляться и хворать желудком. Тогда мы легко пойдем друг друга.

Было это в Харькове. Огромный цирк „Миссури“, в котором жалко барахтались, среди полярного хо-

лода, дымки человеческого дыхания, требовал ярусами, морозом, военными касками, запахом мужества и дегтя иных зрелищ, может быть, гладиаторов в тулупах или же просто белых медведей. Надрываясь, выкрикивал я, подобно командармам или базарным сидельцам, лирические призывы Андрея, которому всюду, да, всюду, даже на этом полюсе мерещится смуглая Жанна. Я получал за это от жуликоватого импрессарио умеренный гонорар, а от девушек подлинные слезы. Я чувствовал, как слова пропадают где-то между ярусами, поглощаемые пространством и сочувствием. У меня не хватало голоса, а ноги коченели. Наконец, Андрей умер, сраженный лживым правосудием. Сердобольная сторожиха дала мне стакан теплого чая. Казалось, после этого даже медведей уводят в клетки. Но нет же, толстовки, блузки, сердца настаивали на продлении агонии. Андрея уже не было, зато я жал руки, расписывался на каких-то старых тетрадках и раздавал вместо сувениров невзыскательную иронию вдоволь замерзшего и проголодавшегося человека. Меня спрашивали — жениться ли? Мне говорили об Эйнштейне, о Муссолини и о Пильняке. Тщедушные школьники первой ступени заверяли, что „кружок последователей Хуренито“ умело преследует и родителей и наставников мелкой домашней провокацией. Какой-то сноб хотел приобрести за червонец мою трубку. Дама любпытствовала, не хочу ли

я, в свой черед, приобрести этюд кисти Репина. Предприимчивые дуры, сделавшие из грустной особенности профессию, назначали свидания. Цирк, казалось, рос, тучнел и не хотел выпускать меня. Вот тогда - то, окруженный великолепным ореолом уверенности и презрения, из маслянного дыма коридоров выплыл нос — картошкой, добротный нос товарища Юра.

— Пишете вы ерунду! Я зря вечер потерял. Лучше пошел бы на лекцию о Штейнахе. Все-таки когда-нибудь да может пригодиться. А вы?.. На кой чорт вы существуете? Любовь — скажите, пожалуйста! Кому это нужно? Андрей ваш дурак и халуй. Его за делом послали, а он с французенками спутался. Это вовсе не факт, а ваша классовая психология. Сидите за границей и протухли. У нас хозяйство восстанавливается, а вы слюни пускаете. Стыдно, гражданин!

Небольшой, но энергичный спич так понравился мне, что я захотел обнять обличителя, но быстро опомнился — ведь и это будет принято, как „классовые слюни“. Я предложил вернуть ему тридцать копеек за входной билет, но товарищ Юр в ответ презрительно фыркнул. Он не столь глуп, чтобы платить деньги за подобный вздор. Он кратко рассказал мне о занятиях рабфаковцев, спросил, плохо ли на Западе, услышав, что плохо, вполне удовлетворился и, решительно расталкивая профессио-

нальных дур, благополучно вывел меня на улицу. Я решаюсь сказать, что на этом мы подружились.

Недавно, уже после разрыва с толстяком-хозяином, я случайно встретил Юра. Я не берусь с точностью определить, какая именно командировка занесла его в Париж. Во всяком случае нос, принужденный отражать теперь развратные огни бульваров, не утратил ни превосходства, ни независимости. Я искренно обрадовался этому. Хорошо, когда семинарская простоватость не пасует ни перед теорией относительности, ни перед количеством „Фордов“. С жалостью, впрямь трогательной, спросил он меня: „Все еще здесь околачиваетесь?“, угостил советскими папиросами „Госбанк“ — „не чета вашим“, записал свой адрес и исчез — куда? зачем? Не знаю. Восстанавливать хозяйство, закупать автобусы, изучать химические удобрения, обличать амстердамский профинтерн, или обедать — во всяком случае не ронять слюни.

Вот кому понес я отчет о непонятных неделях, появление фантаста, жилет господина Пике и мою неприкаянность.

Жил товарищ Юр в паршивой гостинице, где ночи полнились креолками, запахом пудры и позевыванием лунатического полового. Комната его, однако, была магически отделена от окрестной шмыготни, от скользящих по коридорам парочек;

от световых реклам, от поэзии Кокто, от всего гни-
лостного очарования столицы. Может быть, этому
способствовало чердачное окно, допускавшее в гости
к Юру только солнечный свет и гудки локомоти-
вов. Может быть, объяснялось это носом самого
Юра, крупными шагами из угла в угол, исписан-
ными листочками на столе, наконец, номером „L’Hu-
manité“. Не знаю. Так или иначе я в несколько минут
пережил и Себеж и историю последних восьми лет.

Пусть отлог спуск, пусть Октябрь уже видится
покинутым Араратом, это еще не долина. Пропор-
ции творят чудеса — лай овчарок гремит, как обвал,
а громадные развалины замка мнутся стадом напу-
ганных ягнят. Приближение к небу на тысячу мет-
ров дает знать о себе разреженным воздухом и
усиленным кровообращением. Угловатость, даже
грубость иных жестов диктуются горной флорой и
горным же аппетитом. Только с двумя-тремя корот-
кими мыслями и с гвоздями на подошвах можно хо-
дить по этим тропинкам. Конечно, в долинах мысли
много разнообразнее, как и меню, в долинах даже
существует классический балет. Садоводам известны
до восьмисот сортов роз. Все это так. Но трудно и
легко дышалось мне в маленькой комнатке, рядом
с носом — картошкой и с номером „L’Humanité“.
Тронутые бактериями легкие жадно черпали нужный
им и, увы, слишком для них густой озон рабфа-
ковских общежитий и комсомольских гнезд.

Юр с досадой выслушал меня. Он требовал краткости и решительно устранял вопрос о призраках. Он был лаконичен, беспощадно лаконичен: никаких слюней! Я должен ехать в Россию, и, оставив никому ненужные сентименты, заняться изучением нового быта. В принципе соглашаясь с ним, я все же настаивал на разборе данного случая. Хорошо. Пике, наверное, существует. Не один, их тысячи — Пике. Борьба с ними путем индивидуального террора глупо. Во Франции, как и в Италии, существуют партия, синдикаты. (Было это словами или только шуршанием газеты „L'Humanité“?) Что касается Луиджи, то он, очевидно, деклассированный тип, как и я. Интеллигенция мечется между двумя лагерями. Психология лакеев. Анархизм создан для миллиардеров и для обленившихся босяков. Словом, все это ерунда, достойная пера Эренбурга. При чем ему отнюдь не жалко меня. Богема, как и цыгане „Стрельны“, существовала для увеселения буржуазии. Теперь она должна умереть. Ясно?

Да, разумеется. Но нос... Скажите, разве каждому дается такой нос? Что делать, если не могу я возвыситься до подобной ясности, если меня душат горячие туманы парижских проспектов?

— Товарищ Юр, я прошу вас об одном. Вы, конечно, очень заняты. Но уделите мне один вечер. Я вас познакомлю с Луиджи и с Паули. Вы сами увидите, что это за люди. Может быть, я все пере-

путал. У меня ослабла память и, кроме того, мне многое теперь мерещится в связи с этим глупым вопросом о призраках. Хотите послезавтра?

И столько беспомощности было в моем голосе, что товарищ Юр согласился. Хорошо, он уже потерял из-за меня вечер, он потеряет еще один.

Я ушел несколько утешенный. Но когда винт крутой лестницы и дверь, с отчаянием открытая лунатиком в кальсонах, отдали меня улице, я вновь затомился. Кошачьи глаза сигналов жмурились и расширялись, задерживая сотни недобро пыхтевших машин. Электрические гномы карабкались по фасадам, тщась соблазнить даже луну „бульоном в кубиках“. Мимо меня сновали биографии и месячные оклады, при чем ни набалдашники палок, ни девический румянец не удостоверяли их подлинности. Запасов зноя, кажется, хватило бы и на зиму. Любая стена томила, как кафель печи. Город бесился, он вытирал каменный лоб небесным фуляром, несся под музыкальные души джаз-бандов, жал лимоны, тысячи лимонов, да, да, в бешенстве истреблял он целые рощи Мессины. Я ничему не верил. Скептически усмехнулся я, когда кто-то предложил мне „ночь любви“. Бедная коза, как она плакала под китайским фонариком! Бульон в кубиках — наверное, яд. Машины сокращаются и вырабатывают душные, косметические иллюзии. Любой живот принадлежит Пике. Юр ведь сказал: „Пике — тысячи“. Есть еще

черная вещица, которую надлежит нажать. От этого меня теперь уже никто не спасет.

Я все же пробовал успокоиться. Лазейка там наверху, где небо и нос товарища Юра. Следует спешно уехать в Москву. Что для этого нужно? Девятьсот франков, теплая фуфайка и „никаких слюней“. Впрочем, фуфайки не требуется, теперь и там лето. Деньги? Да, деньги не так-то легко достать. Луиджи столько не даст. Взять у того в жилетке, взять у живого или у мертвого девятьсот франков на билет до Москвы? Вежливо сказать, предлагая папиросу (Луиджи почему-то особенно настаивал на этом жесте): „monsieur Пике, дайте мне девять бумажск, не десять, только девять на дорогу в далекий край?“ Я не назову его, я скажу „далекий край“ — это много деликатней. Или сначала нажать вещицу, а потом быстро нагнуться, как будто я уронил запонку, погрузить руку в сырое и теплое, где сердце, агонизируя, безысходно бьется о солидный бумажник?..

Я репетировал различные сцены, толкая горячие тени встречных. Постепенно я забывал о Москве, о билете. Оставался только жест, только ночь и короткая борьба, только животик Пике, хрип, слизь, агония. И пот на моем лице густел. Он свертывался, как кровь.

ПОД ГУДКИ ПРИБЫВАЮЩИХ И ОТБЫВАЮЩИХ

Зачем было испытывать и без того ослабевшие нервы? Конечно, зной недели жесток и любому разморенному шатуну, даже мороженщику, отпускающему сливочные индальгенции, хочется хоть кончик ес вывести из этого пекла на лужайки Медона или Фонтене - о - Роз, где под ольхой цветут унылые фикстуары и круглые, как грибы, камемберы. Я понимаю, что неуместно оспаривать почтенные претензии управляющего баром, который, как и президент республики, воскресный день решил провести со своей подругой среди полевых запахов и конденсированного молока. Но все же для деловой беседы, поскольку операция с Пике не переставала занимать моего умилительного семьянина, следовало бы выбрать более спокойное место, не этот бар при вокзале, где стаканы трясутся в ритм всем проходящим и уходящим, а бутерброды пахнут дымом и экзотикой.

Будучи человеком незанятым, я пришел прежде всех и долго должен был сосать лед лимонада, чтобы только не кинуться на один из перронов, где шла дачная погрузка адюльтерных поцелуев и велосипедов, чтобы не закричать, среди шляпных картонок и носовых платков: „возьмите меня с собой!“. Общее волнение захватывало — эта жизнь, всецело подчиненная огненным циферблатам или тревожным гудкам, цветы и подушки, контролеры, пути, главное — количество путей. Различные надписи и стрелки сортировали человеческую неусидчивость. Столько городов, куда можно уехать, с белыми вокзалами, с загадочными номерами неизвестных трамваев и с людьми, да, с людьми в чесучевых пиджаках или в черных беретах, с разномастными, ожидающими газеты и любовниц, с дрожащими под фонарями, седыми, курчавыми, бесшабашными фантастами!

Афиши теснили меня. Они обещали все: море, даму в купальном трико, долины, полные нарциссов и гигиены, молочный шоколад, развалины замка, негров и рулетку бледного от азарта казино. Я сосал маленькие ломтики льда, одинокий и непричастный к этому миру, без билета, без цветов, без подушек. Пришел товарищ Юр. Он гордо оглядел рельсы и плакатное солнце „серебряной Ривьеры“. Нос его блеском и непримиримостью перекричал все сигнальные огни. Потом он заказал

кофе с молоком и заранее установил характер предстоящего совещания:

— Ерунда!..

Я не стал спорить. Мне вспоминались различные заседания, на которых приходилось когда-либо присутствовать — о ставках (при профсоюзе) или о современности Лопе-де-Вега в репертуарной комиссии. Секретарша тактично переспрашивала хриплого оратора: „констатируя“?.. „Да, именно констатируя“. Самодовольный председатель рисовал елочки и античные профили. Так и теперь. Поговорят, чтобы удовлетворить совесть и циферблат. Огромная черта, отделяющая „слушали“ от „постановили“, пройдет не по бумаге, но по моему сердцу. Кто-нибудь заплатит за мой лимонад. И я останусь один, среди путей, среди шляпных картонок, с черной вещицей в кармане и с животиком господина Пике.

Место подчеркивало мою сиротливость. Прощания и встречи происходили с кевыносимой точностью. Казалось, начальник движения определяет число роняемых слез и запах доцветающих в душевных купе левкоев. Тысячи людей создавали иллюзию пустыни, где под звездами, подогнув послушно ноги, умирает верблюд. Какое дело всем до одного? Заинтересовать, разумеется, легко: стоит только нажать вещицу и вся эта толпа начнет жадно рыться в жалком тряпье моих тридцати пяти лет.

Детство в Хамовниках, лысый ранец и первая любовь, размноженные ротационной машиной, вместе с левкоями и с подушками ринутся в вагоны. Но я ведь еще ничего не сделал. Я только томлюсь и гляжу на часы. Кроме того, я не подлежу отбыванию воинской повинности и мои кредиторы еще не подали на меня в суд. Следовательно, я никому не нужен. Я могу прилежно сосать лед и изучать афиши.

Я это делал. Юр молчал. Поезда отходили. Наконец, я увидел шарф Паули. Воспоминания о некоторой, забытой было обязанности оживили меня. Я попытался придать моему лицу выражение традиционной нежности. Озабоченность, однако, мешала. Паули казалась мне не наклеывающейся любовницей, но свидетельницей обвинения на предстоящем суде, где призрак и живой человек будут совместно приговорены к высшей мере. Пришла она, как и было условлено, с подругой. Вот он, фантом злосчастливого водевиля, чья собачья кличка и непонятная роль давно смущали меня! Диди пахла фиалками. Сквозь лайку я почувствовал естественную теплоту руки. Лакей ей подал мороженое. Словом, как и все, она умело симулировала жизнь. Первой ее фразой было:

— Я еду в Биарриц...

— Когда?

Это спросил Юр. Да, да, товарищ Юр. Я не ослышался. Вы удивлены? Верьте мне, и я удивился, с недоверием, более того, с отчаянием человека, который чувствует, что земля трясется, а система Коперника высмеивается газетным фельетонистом, я взглянул на Юра. Эта великомученица из „Быка на крыше“, или из „Дохлой крысы“, или еще из какого-нибудь благопристойного притона едет в Биарриц, где теперь сезон, то-есть морская свежесть и дорогие Ромео? Хорошо. Но какое дело до этого Юру? Разве вхожи в его чердачный рай карандаш для бровей или „Серебряная Ривьера“? Я увидел нечто страшное: нос, столь восторженно описанный мною нос, опустился, он померк как сигнальный диск только что отошедшего поезда.

Диди успокоила:

— Нескоро. Через неделю.

Так началось заседание об убийстве председателя лиги „Франция и порядок“, гражданина Пике. Тысяча событий могут быть мною описаны: отход того или иного поезда, усмешки лакеев, светский жест, которым Юр поднес Диди упавший на пол платок, восторженное трепыхание моего мотылька, нашедшего очередной огонь для танца и для смерти. Не покидая нашего столика, легко было найти вдоволь сюжетов для психологических изысканий и для сентиментальных фильм. Говорили... О чем они не говорили? Только Пике и я были отстра-

нены — мы здесь никого не интересовали. Но состязание гольфа в Биаррице! Но энергия, развиваемая товарищем Юра в Мосторге! Но известные чувства, объединяющие и гольф и Мосторг, нос картошкой, узкие хитро подрисованные глаза хищной птицы или же трагической мумии, но любовь! Вдоволь было тем, составляющих одну, вдоволь мороженого на блюдечках и зноя в венах. На моих глазах строился тривиальный треугольник: Юр подымал платок, Паули богомольно и возмущенно вздыхала, Диди рвалась вверх к серебряному солнцу, к гольфу, к англо-саксонской любви, стойкой, как валюта. Для меня же не было места. Я мог удовлетвориться сознанием, что кто-нибудь да заплатит за мой лимонад: она, он, или бестолковая, полинявшая, как и ее шарф, бабочка.

Однако, чтобы стал понятен романтический характер этого, увы, незапротоколированного заседания, я прежде всего представлю Диди. О глазах я уже упомянул, к глазам следует добавить рот, столь же узкий и длинный, напоминающий отверстие копилки или красный росчерк председателя тарифной комиссии, челку, стыдливо скрывающую лоб, глубокое декольте, уж без стыда выдающее высокие крупные груди, нежный тембр, полный говора лесов и метафизики, сумочку с чековой книжкой (текущий счет в фунтах), верное сердце, наконец, домашний преглупый курдюк. Такие жен-

щины водятся только в Париже, где тулузское рагу и борделезский соус патетичны, как небесные туманности, или как гексаметр и где в любом ящике мусорщицы, порывшись среди жестянок, счетов от прачки, сухих глициний, можно найти простоватую любовь двух чахоточных подростков. Недоступная, как модель с рю де-ла-Пэ, Диди знала и кризисы, сезонные распродажи, когда приходилось за ужин отдавать на милость мелкого ютландского скотовода шелковое белье и ритмические поцелуи. Она знала и любовь, семейную любовь вплоть до штопання носков прыщеватого поэта, фамилии которого я здесь не назову, зато без обиняков определив его профессию: не только галстухи, сборник стихов о нагих отроках на грузоподъемниках обязан прилежанию Диди. Ночная птица в баре „Сигаль“ пела и любила. У нее был на редкость приятный, грудной голос, полный теплоты и чернот августовской ночи. Поэтому ее песенки, скабрзные, как выволоченное из бани тело натуральной мещанки, казались милыми, грустными, если угодно, сентиментальными, превращавшими подагрических пачкунов в наивных провинциальных девушек. Впрочем, все это несущественно. Я никого не зазываю в бар „Сигаль“ и мне нет дела до поэтических сутенеров. Пусть другие займутся обстоятельным жизнеописанием этих зыбких существ. Я же вижу Диди рядом с Юром, печальную и бесстыдную, глушизну гу-

стых ресниц, деловитую сумку, дрожание перчаток, полных расчтливых рукопожатий, растерянности одинокой, уже начинающей стареть женщины, счета монет и запаха фиалок.

Не было оператора. Ни поезда, ни лакеи нами не интересовались. А жаль! Пропадала хоть шаблонная, однако полная выразительности фильма. Я в ней не принимал участия. Я был стаканом лимонада или потной каскеткой, напоминающей, что вне вокзала — горячая ночь, сто тысяч фонарей, баснословное одиночество. Меня окружали споры, намеки, обмолвки, сеть быстро заплетаемых страстей и обид. Выявлялись характеры. Гиперболические чувства заставляли дрожать стекло и гасили недокуриваемые папиросы.

Прислушиваясь, я понял, что беседа ведется вокруг советских законов касательно брака и развода. Юр не без гордости разъяснял. Диди возмущалась. Это разврат! Сегодня она замужем за одним, а завтра за другим — какая гадость! В искренности тона сомневаться не приходилось, в облике судьи также — это говорила Диди, да, та самая Диди из бара „Сигаль“. Что же, у нее была своя теория. За деньги (большие, малые — это дело счастья) можно делать все, при чем любая пакость, оплаченная сполна, столь же честна и почтенна, как вязание душегрсек или как рассадка помидоров. Другое дело — бескорыстные чувства. Здесь

престарелая мисс, не решающая даже полюбоваться предписанной, однако, для любования, статуей такого-то Аполлона и та, вряд ли смогла бы потягаться с Диди. Просят не смешивать бар „Сигаль“ с браком, с настоящим браком. О, если бы Диди была чьей-нибудь женой, разве она вздумала бы разводиться? Но Диди не жена, Диди только птица и эпизодические расходы.

— Почему же вам не выйти замуж?

— Мне?..

И Диди рассмеялась. Замуж выходят настоящие женщины. Они из мяса. А Диди из пудры и из выигранных в баккара ассигнаций. Те умеют рожать детей, готовить отбивные котлеты. А что она умеет? Петь о старом мэре или опутывать сердца и бумажники надоедливым серпантинном? Поглядите на нее — это тень, это старая протертая фильма, среди любовников и пальм — снег, нет, не снег — белые точки, конец прокатного счастья.

(Здесь я скромно, про себя, поблагодарил мудрую Диди, хоть она признала условность того мира, в котором я томился.)

Паули негодовала. Она упрекала Диди в грубости и в материализме. Она во всем соглашалась с Юром. Замечательные законы! Нет, не кодекс привлекал ее. Казалось, во время редких пауз,

когда замолкали и поезда и люди, слышно было как бьются, трагически бьются вокруг необычайных законов, вокруг носа картошкой, быстро лияющие и не бог уж весть какой силы крылышки. Юр должен был всем, по существу семинарски доверчивым, сердцем радоваться экстазу этой неофитки. Но он все свое внимание отдавал сложной и малоцветной палитре, в зависимости от места образовывавшей губы, глаза или сердце Диди.

— Пойдите, что это с товарищем Юром? Ах, вот что!..

Писатель, год тому назад читавший о любви Андрея и Жанны, мог, разумеется, торжествовать. Он мог бы со злорадством напомнить своему обличителю о классовой природе слюней. Он мог бы, наконец, сказать: напрасно вы и те, что с вами, при дневном свете судите меня — „любовь, какая это любовь?..“. Есть и ночью соглядатаи, хотя бы фонари трамваев или глаза обиженных судьбой ревнивцев.

Но ведь не писатель сидел рядом с Юром, а человек без определенных профессий, которого подрядили убить господина Пике. И он был далек от торжества. Он понимал, что и Юр околпачен, что чердачное окошко уже бессильно перед черной густотой этого лета, что незачем искать девятьсот франков или рассчитывать на чужой иммунитет. Бациллы знают свое дело. Остается ждать,

Наконец-то, пришел Луиджи. Он блистал волей, а также большой астрой в петлице. Поглядите на него — кто же это, инициатор готовящегося преступления или счастливый любовник, который боится пропустить дачный поезд? Но ведь не зря мы собрались, не зря прождали его больше часа. Сейчас начнется деловое обсуждение вопроса. Нос Юра обретет утерянный авторитет. Еще многое может быть выяснено, даже устранено.

Луиджи сразу заметил волнение Паули. Кажется, он заподозрил меня. Так или иначе, кружение, даже опаленность крылышек от него не ускользнули. Насторожившись, он не хотел говорить ни о солнце Биаррица, ни о брачном кодексе. Он попросту торопился. Дела в баре на улице Шатоден, где фильтровые машины гудя вырабатывают пахучий кофе и проценты с прибыли, задержали его. Поезд в Фонтенебло отходит через десять минут. Он просит прощения. Мы, разумеется, простили. Мы знали, что поезда не ждут, что в Фонтенебло свежий мох и земляника со сливками, а здесь только мягкий асфальт, регистрирующий неуверенные шаги очередного убийцы. Пусть едут скорее. Пусть целуются среди папоротника. Диди пора в бар „Сигаль“ метать серпантин и сердце. У товарища Юра командировка. А я?.. Может быть, на этот раз судьба смилостивится и надо мной: уйдут люди и поезда, а обо мне забудут.

дут. Ах, как я буду радоваться! Я куплю шоколадный леденец. Фамильярно поговорю я с прохладной луной о Хамовниках, о жене, о стихах Пастернака. Луна остудит горячечный лоб и даже полицейские удивятся: „какой странный человек, он улыбается нам, нам — сгусткам крови в синих накидках тропический ночи!..“

Следует ли говорить о том, что меня не забыли? Уходя Луиджи небрежно сказал:

— Да, Диди, проводи его к Пике. И как можно скорее.

Женщина, пахнувшая искусственными фиалками и сама признававшаяся, что она только тень, в знак согласия чуть переместила красный росчерк своих губ. Остальное было сделано быстро: обдуманы детали, записаны адреса, обусловлены встречи. Я попробовал заговорить с Юром, но он раздраженно отмахнулся — какие советы? Откуда он знает? Точка. У него командировка. Часы торопят. Диди боится опоздать в „Сигаль“. Через час она уже будет принимать в копилку рта ребяческие поцелуи только что кончивших коллеж подростков и тяжелую валюту ютландских скотоводов.

Я не беседовал в ту ночь с луной, да, кажется, в ту ночь и не было луны. Затертый огнями и призраками, я время от времени щупал брючный карман: там лежал подарок Луиджи. Я хотел представить

себе, что делает сейчас господин Пике. Играет в покер? Целует балерину? Подкапывается под министерство? Но лицо отсутствовало, а один фиолетовый цвет не создавал нужной картины. Зато всюду мерещилось мне идиллическое воркование поезда, который уносит два железнодорожных билета к любви и к крупной, как звезды, землянике.

ОНА ПЛАВАЛА В МАЛЕНЬКОЙ БАНКЕ

Если у вас есть жена или письменный стол, или хотя бы крохотная запонка, дорожите ими. Радуйтесь любой достоверности. Здесь, в отметках на полях книг, в семейных фотографиях, в чреве комода, где ханжески белее, пересчитанное после стирки, белье — прививка от злого навождения, овладевшего мною в то душное лето.

— Вы сделаете для камина рыбу. Из стекла, из камня, из олова. Разумеется, упрощенные формы. Геометрия и напряженное чувство. Если верить теоретикам „Esprit Nouveau“, господин Загер, ваше сердце это — машина, безупречная машина для выработки эмоций. Не так ли?

Прежде чем ответить, я невольно пощупал свою грудь. Ход сердца был бестолков и патетичен, как движение маршрутного поезда в годы пайков, голода и дерзаний.

— Хорошо, я сделаю рыбу, стеклянную рыбу в стеклянном мире. От геометрии мне хочется плакать.

Впрочем, об этом не стоит говорить: чего доброго вы назовете слезы машинным маслом. Есть еще черная вещица, господин Пике. Она, кажется, работает безупречно. Но об этом после. Итак, я принимаю ваш заказ. Мы можем перейти к деталям...

Кто знает, что пережил я, говоря эти сбивчивые и взволнованные слова? Лучше было бы мне не уходить от толстяка-хозяина! Лучше было бы переводить Пьера Ампа. Голод, халтура, унижение — все равно. Ведь отель на бульваре Монпарнас существовал. Я могу поручиться. И в нем квартировал литератор Илья Эренбург. Все это ясно, и не вызывает возражений. А здесь?..

Я ждал всего чего угодно, только не этого. Живота вовсе не оказалось. Что-то тощее и нарицательное значилось под тривиальной жилеткой. Анемичное лицо не позволяло удержать последнюю примету — фиолетовый предсмертный колер апоплектического идола. Человек меланхолично улыбался и говорил о геометрии. А между тем я называл его „господином Пике“ и черная вещица настойчиво оттягивала мой брючный карман. Как понять это?

Я хорошо знал их. В книгах они были живыми и теплыми. Они шуршали чеками и мелодично после ужина отрывивали. Я помнил не только лица — вкусы каждого. Мистер Куль любил сочные фрукты и малопрожаренное мясо, господин Ней — улиток, наш доморощенный Нейхензон — индюшачьи пу-

почки. Как видите, я мог бы попотчевать их любимой снедью. Или мистер Твайфт — с ним знакомы все москвичи. Актер Ильинский играл исправно. Какому делу до справок, выдаваемых адресным столом Чикаго? Разве вы не видите, что искусство много правдоподобнее жизни? Я помню, наконец, как по Киеву разъезжали агитационные грузовики губполитпросвета — „прежде“ и „теперь“. На том, что „прежде“, нагло потел и хихикал господин Пике в натуральном его виде, то-есть с огромным животом и с лиловой шеей, переплескивавшейся за борт стоячего воротника. Я видел его воочию на Мариинско-Благовещенской, среди мелкой спекуляции, папиросников, запахов фаршированной щуки и звуков Мендельсона. Мне возразят — это был безработный артист В., которого подрядили утром в столовке рабиса на улице Маркса. Все равно — он жил, он дышал, он обливал меланхолические плечи маклеров и рыбную чешую полновесным, золотым хихиканьем. Почему я тогда не выстрелил?..

Впрочем, о чем говорить? Не я ли предал ясное искусство ради пудовой духоты житейских дел? Актер В. теперь наверное играет жизнерадостных нэпачей в каком-нибудь районном театре, а я стою перед господином Пике, перед самым доподлинным господином Пике. Женщина с фиалками и с собачьей кличкой сделала свое дело. Говорить о самозванцах или о фантомах по меньшей мере непри-

лично: ведь я проник сюда под чужим именем. Я — не бывший писатель, даже не погонщик баранов, я — модный скульптор. Моя фамилия Загер, и я должен сделать печальную рыбу из камня и из стекла.

Приняв неведомое мне имя, я как бы лишился и объема и памяти. Подобно нескольким волоскам, вылезавшим из-под парика, моя прошлая жизнь давала о себе знать только изредка неожиданными и дикими образами: лужей крови на Мясницкой, глазами издателя Ангарского, запахом пригорелого молока. Мои мысли и мышцы отчаянно барахтались в жажде найти новую форму. При чем Загера я никогда не видал. Я даже не помнил его работ. Головную боль и отчаяние я приписывал то предполагаемой тетке скульптора, умирающей в Лодзи от голода, то высокой любви. Наверное Загер влюблен в крохотную башкирку Кису, которая каждый вечер в „Ротонде“ ест крутые яйца и тихонько плачет. Его занятия казались мне печальными и азартными, как счет звезд или собирание окурков. Стекланные рыбы уныло звенели жабрами. Олово светилось как луна. И несчастный Загер легчайшей выдуманной головой бился о каменные глыбы. Так я жалел себя.

Господин Пике показал мне камин, сообщил желательный размер рыбы, назвал цифру оплаты. Следовало приступить к главному, то-есть, памятуя наставления Луиджи, предложить любезному хозяину папиросу. Ленточка Почетного Легиона, при-

Подымаемая ровным дыханием, могла бы сойти за мишень. Скептические наклонности, однако, сказались. От них вся беда. Они способствовали моему удалению из шестого класса гимназии. Они восставили против меня всех критиков, всех редакторов, всех цензоров моего добродетельного отечества. Благодаря им я предпочел ремесло убийцы писанию рассказов о лиловой шее Пике для „Огонька“ или же для „Красной Нивы“. Несчастный Фома, разве ты не знаешь, что высокие чувства, как и статуи музея, снабжаются предостережением „руками не трогать“? В левой был портсигар, правая сжимала черную вещицу. И вдруг мысль — может быть, это не он, может быть, это только тень? Станет ли председатель „Лиги“ говорить о геометрии и печально бледнеть?

Я не выстрелил. Вежливо, пожалуй, даже бесстрастно стал я рассуждать о геометрии, о машинах, о слишком бледных меценатах. Я всячески провоцировал моего собеседника. Зачем ему, владельцу сети универсальных магазинов, это абстрактное искусство, полное чистоты и стчаяния? Он может заказать солнце Бомбея, опаляющее щеки. Он может целовать всех женщин мира. Не лучше ли оставить куб и стекло мрачным фанатикам мирового подполья, безработным Аттилам и чахоточным подросткам? Я сделаю для него статую не из стекла — из розового мрамора, теплого и нежного, как бедра

самой дорогой кокотки. Она будет олицетворять победу и возбуждать аппетит. В дни министерского кризиса, в дни нового Дуарненеза или в тот черный день, когда околеет, блеющая печально под китайским фонариком, коза, господин Пике сможет целовать Победу, он сможет покрывать ее зябкие формы курсами биржи или великолепными вензелями „Лиги“. (Карандаш ведь остается на мраморе, я это хорошо знаю — не раз приходилось заносить на кофейный столик свою простодушную и похабную скуку.) Итак, мы откажемся от рыбы — не правда ли?

Прием удался. Растревоженный призрак показал, если не лицо, то несколько идей и больные внутренности.

— Вы знаете хорошо геометрические формы, господин Загер. Но люди сделаны без циркуля, и вы вовсе не знаете людей. Вы меня видали, вероятно, в кино или на афише. Я ел бекаса и улыбался. На самом деле у меня больная печень. Я должен огорчить вас, но я ем только лапшу и пью воду, которая отвратительно пахнет серой. Притом я никогда не улыбаюсь. Изредка я бываю в цирке — это мода. Клоуны Фрателлини ездят на детских велосипедах и снобы громко гогочут. А я думаю о Моссуле. Нефти, как вы наверно слышали, мало, и дремать не приходится. Я заплачу вам скромно, но богатства своего я не отрицаю. Однако оно не дает мне радости. У моей жены рак желудка. Моему

сыну семнадцать лет. Он играет как маленькая девочка с куклой и роняет на жилет слюну. Я не люблю женщин. На что можно тратить деньги? Искусство? Но вы ведь не хуже меня знаете, что мраморные женщины или стеклянные рыбы никому не нужны. От них только скучно и тесно. Не бойтесь, мой заказ остается в силе. Я делаю множество скучных вещей, только чтобы что-нибудь делать. Я истребляю, например, коммунистов. Вы упомянули о „Лиге“, следовательно, — вы кое-что знаете. Вы многого не знаете, и вам незачем это знать. Перед вами не любитель бекасов, а стойк и герой. Коммунисты победят? Хорошо. Я не отклоняю единоборства с историей. Я пытаюсь оградить человечество от моей судьбы. Дело ведь не в больной печени. Возможности, даже среднего ума, неограничены. Зато ограничены потребности людей. Думали ли вы, молодой человек, о великой скуке универсального удовлетворения? Вы счастливей меня, хотя бы потому, что вы мне завидуете. Вам хочется хорошо пообедать и купить своей удешевленной Дульцинее меховое манто. Наслаждайтесь же вашими желаниями и этим небольшим авансом.

Вручив мне пятьсот франков, господин Пике отвернулся. Я понял, что аудиенция окончена. Следовало либо выстрелить, либо, поблагодарив загадочного мецената, тихо удалиться. Но философические речи Пике увеличили мое смятение. Не отда-

вая себе отчета в поступках, я спрятался за широкую бархатную портьеру. Мне казалось, что Пике, оставшись один, вдруг обрстет мясом и наполнится выразительной венозной кровью.

Председатель „Лиги“ прежде всего подошел к телефону.

— Банк „Пэи-Ба“ поддерживает Пэнлевэ. Примите меры. Каблируйте Нью-Йорк — Смитсу, чтобы он организовал противодействие.

Густая дробь газетного листа посыпалась на меня: заседание финансовой комиссии, четырнадцать убитых, вопрос о пенсиях, курс франка, вся кровь и весь кал мечтательного мира, трупы каких-то друзей, добродушные покеры в провинциальных кафэ, черные вещицы „Лига“, печально чирикающий бекас и стоик, да не палач, но стоик, который стреляет, стреляет, вечно стреляет...

Жмурясь и дрожа, я не заметил, как в комнату вошли новые фигуранты. Я не спал. Я это видел, видел на яву. И я даже не смею взроптать — за что?.. Ведь я сам остался в темном углу, сам заглянул в этот вскрытый ланцетом желудок, полный ядовитых газов и гниющей мякоти.

Диди я узнал сразу по трагической щели рта, хоть она и была в домашнем капоте, выдававшем мещанское, вдоволь добротное тело. Она привела с собой рослого, широкоплечего юношу, который голубыми фарфоровыми дисками глядел на люстру

и прижимал к своей груди, к этой воистину атлетической возвышенности опрятную куколку в кружевных панталончиках, то открывавшую, то закрывавшую глаза.

— Диди, научи его быть мужчиной, — распорядился господин Пике, уныло и деловито, как будто речь шла о банке „Пэй-Ба“.

Диди, видимо, никому не отказывала. Она печально усмехнулась. Ее руки, условно пахнувшие фиалками, трудолюбиво обвили килограммы косного мяса.

— Ты — большой. Ты — боксер. И ты не умеешь целоваться?..

Сын господина Пике оказался наредкость плохим учеником. Мучительная и гнусная мимика ночной птицы, трепетавшей в кабинете, трех ее теней, рождаемых различными лампами, их скрещивания и отталкивания, нетерпеливое понукание отца — все это оказалось тщетным.

Тогда Диди запела. Мелодия старой колыбельной, которую поют бретонки, покачивая колыбель, чуя иное качание — рыбацких шхун среди льдов Исландии, чуя уже качание утопленника в кадрили морских течений, эта мрачная мелодия с ее переизбытком чувств, с запросом смерти вместо короткого сна покрывала слова, непотребные и мимолет-

ные, как тени женщин на углах предутренних улиц. И отданный на милость первородным звукам, многопудовый идиот жалко барахтался. Он и не думал целовать Диди, нет, нежно и глупо гладил он куклу, стараясь закрыть ее родственные в бессмысленной голубизне глаза, гладил, трагически мычал, как баран на бойнях Ля-Виллет, и обливал кружевцо обильной слюной.

Господин Пике не выдержал:

— Убирайтесь! Я хочу остаться один.

Я замер. Так подступала разгадка. Исторический прогноз, исповедь, продолженная мерзкой инсценировкой, не то родительское горе, не то забавы старого сладострастника, все это требовало ключа. Наконец-то, он останется один, без происков „Пэи-Ба“, без Диди, один с трупами дуарненезских девушек и с большой уродливой тенью на стене. Ведь он не подозревает, что за неподвижным бархатом чужое сердце ширится от отчаяния. Что он скажет себе? Примется ли рассматривать порнографические карточки или вынет из несгораемого шкафа крохотную склянку с морфием?

Я отодвинул край портьеры. Я увидел, как господин Пике подошел к окну, как он взял небольшую стеклянную банку и опустился в мягкое кресло. Это была обыкновенная банка из-под варенья, в кото-

рой заунывно плавала золотая рыбка. Такие банки дарят рахитичным детям взамен солнца и чехарды. Нежно улыбаясь, господин Пике следил за всеми движениями рыбки. Когда она ударялась о стекло, он мучительно морщился. Когда, подымаясь, она выпускала серебряные пузыри воздуха, он в лад ей многозначительно дышал. Его голова, полная курсов доллара и балансов шелкопрядильни, описывала ровные мелодичные круги. В воде металось электрическое солнце, тонкое стекло определяло границы чувств и грустная, как последняя любовь, маленькая, кем-то выдуманная рыбка плавала, а председатель „Лиги Франция и Порядок“ дополнял ее прозрачный пресный мир солоноватыми выделениями своего одиночества.

Здесь-то кончились мои силы. Идиот? Ханжа? Мученик? От темноты и от отчаяния я потерял рассудок. Я подбежал к Пике. Я крикнул „довольно!..“. Я не помнил больше, зачем я здесь. Моя рука была бесконечно далека от кармана. Разряд сказался в нелепейшем жесте. Вырвав из рук Пике банку, я опрокинул ее. С наслаждением я лил воду на ровный пробор, на шевиотовые плечи, на щеки, уже увлажненные недопустимыми слезами.

Господин Пике как бы спал. Лунатические зрачки ничего не выражали. Он медленно встал, вынул платок, вытер лицо и уныло, голосом, лишенным досады или удивления, проговорил:

— Вы еще здесь, господин Загер?

Я даже не мог подобрать какого-нибудь пристойного объяснения своему нелспому поведению. Заикаясь, я пробормотал:

— Я забыл что-то... Но что?.. Ах, да, я забыл предложить вам папиросу.

На ковре издыхала золотая рыбка. Ее жабры были мучительно развернуты, а глаза уже тронуты густой мутью смерти.

ТРЕБОВАЛСЯ ЛЕД

— Удивительно глупо. Вместо председателя „Лиги“ я убил золотую рыбку. Что мне делать, товарищ Юр? Вы пришли, как спасение. Смотрите, вот револьвер. Скажите — и я сделаю. Кого мне убить — Пике, Луиджи или себя? Я знаю, что кого-то убить необходимо. Эта черная вещица не хочет больше ждать. Но кого? Нельзя же ограничиться аквариумом. Я так рад вам!..

Говоря это, я не лгал. Редко кому я так радовался, как Юру в то утро. Меня глушили развернутые жабры, загадочный свет кабинета и губы, неудовлетворенного исходом экспедиции, фантаста. Я лелеял справедливо прославленный нос. Я окружал стриженную ежиком голову нимбом пророка. Пиджак я покрывал фартуком гениального хирурга. Теперь, когда все миновало и надежды и разуверения можно сказать — как тот кретин — куклу, любил я эту тень, вывезенную на запад, заодно с великими идеями и с астраханской икрой. Юр, однако, сопротивлялся.

— Стреляйте в кого хотите. Какое мне до этого дело? Или ни в кого не стреляйте. Убили рыбку — и будет. Теперь пишите некролог в стихах. Вы думаете, мне вас жалко? Ничуть. Впрочем, если на то пошло, скажу вам прямо — жалко. И того подлеца с банкой. Даже рыбку. Категорически всех. Это плохой признак. Вот вы написали „Курбова“. Дрянь! Почему это чекист вдруг дошел до пошлой жалости? Что за дамская сырость? Очень просто. Да потому, что ему себя жалко. Если человек к себе беспощаден, ему и других жалеть нечего. А остальное — любовь, кабаки и проклятое соглашательство. Как вы думаете, гражданин-писатель, может ли воздух влиять на идеи? Поскольку вы ставите вопрос о ликвидации, отвечу вам прямо — убить следует меня. Что я такое? Ком мяса. Логика доказывают, что человек лысеет постепенно. А я вот сразу потерял и форму и убеждения.

Я спрятал револьвер в карман — пусть ждет, пусть сам выберет мишень. Есть же какая-то связь, хоть и непонятная нам, между различными, с виду бессмысленными, поступками. Я жил, писал книги, ел телятину. Потом — неоплаченный счет и бархатная портьера, подобранный окурочок и золотая рыбка. Самое глупое из всех человеческих божеств, самое простое и самое неоспоримое, как предсмертная икота или как яйцо страуса, которое зреет среди пустыни „рок“ в истлевшей тунике

или сальная, кофейная, трехрублевая „судьба“ коломенских гадалок встало передо мной. Будь что будет! Если Юр потерял форму, если и он стал несчастной каракулей гонимого ветром дыма, — о какой же истине мне хлопотать?

Растерянные признания продолжались. Когда ломают дом, видны стены, на обоях следы картин, оттиски голов, повесть сна и пота. Не так падали слова Юра. Они казались величественными и невесомыми, как картонные города киносъемок. Оказывается, электрические гномы залезали и в чердачное окно. Они приносили с собой траур — марши джаз-банда, ржавое и нежное лязганье бледнеющих от безумия негров, крем „секрет вечной молодости“, свистки, гудки, поцелуи, огромное рыжее небо, над вечно бессонным городом и пучки трогательных, сифилитических роз. Призрак столицы — Юр увидел его, сердцебиение, определяемое лошадиными силами, и глаза в миллиард ваттов.

Фотомонтаж, где на корпус биржи накладываются пальмы Марокко, висок и револьвер, ротационка вечерней лжи. Глубина поля отсутствует. Только огненный туман и дымящаяся в зубах бронзового солдата самодельная папироса. Волны радио заливают мир агонией тонущих шхун и спевкой маклеров. Когда женщины скидывают креп-де-шин, тела не оказывается, вместо него алгебраическая формула и две восковые камелии. Под утро десять тысяч

мусорщиц нежно и церемонно выносят за городские рвы труп титана. Они засыпают его нераспроданными стихами „сюрреалистов“ и кожурой бананов. Это час, когда любовница и смерть показывают бумажку: „итого следует“... Сто франков, как и душа, помещаются в ридикюле. Бедный товарищ Юр, как же ему будет тесно рядом с карандашом для губ и с двенадцатистопной меланхолией!..

Где вы, рубленные котлеты, здоровый мороз, Благуша и комсомол? Так смотрит авиатор на города, дороги, канавы, перелески. То, что внизу жизнь, чадная и сладкая, с парным молоком, с коклюшем, с семейной любовью, для него теперь только план, только безнадежная геометрия, скрещение линий, дистанций, ветров.

Развоплощение Юра так поразило меня, что я и не думал справляться о ходе того нудного и нелепого механизма, которое может быть названо моим сердцем, хоть некоторые фразы должны были меня затронуть. Так я узнал, что мотылек недаром бился вокруг кодекса и носа. Товарищ Юр „схалтурил“. Трудно сказать, чего было больше в этой получасовой забаве — прежнего беспечного озорства („не убавится“) или новой рассеянности, теневого маниакального шатания по чужим домам и душам! При чем Паули казалась ему отвратительной и нереальной, как кусок телятины на вокзале, покрытый кисеей, мухами и вечностью. Повторяю, узнав

об этом, как никак досадном, происшествии, я не почувствовал обиды. Вращаясь в обществе экранных героев и шахматных фигур, я достиг настоящей отрешенности ото всех естественных эмоций. Животное тепло, пожалуй, еще могло быть установлено термометром, засунутым подмышку, но это был не внутренний огонь, а исключительно жестокий и подлый накал затянувшегося августа. После вчерашнего сталкивания теней на стенах кабинета ничто не могло меня удивить. На слова о Паули я ответил тактичным молчанием незаинтересованного соглядатая. Другое занимало меня — я чувствовал, что помимо электрических гномов и „крема молодости“ существует некий прямой виновник, посягнувший на ореол носа. Мировая литература, житейский опыт, Жозефина Наполеона, даже моя крохотная влюбленность в Паули, не говоря уже о скандальном поведении губастого фантаста, подсказывали мне пол преступника. Потом я хорошо помнил вечер на вокзале, подъятый платок и лицемерную лайку перчаток. Неужели все дело в Диди?.. Сознаюсь, после подсмотренного урока я еще более стал сомневаться в достоверности существования этой особы, несмотря на округлость форм и капот. Собачья кличка, как и запах фиалок, не составляют женщины. Различия между ее жестами и колыханием трех теней я не ощущал. Мог ли Юр, вчера живой и приземистый, доверху налитый тяжелой кровью

и солидной как свинец верой прельститься этим оптическим вымыслом? Чтобы проверить догадки, я принялся, не жалея эпитетов, расхваливать Диди:

— Может быть, вы любите ночных птиц? Я читал где-то, что американский поэт Сноудс был влюблен в сову. У Диди замечательное оперение. А глаза?.. Вы видали ее глаза? Они расширяются в полночь, как лужа крови вокруг самоубийцы. Это от тоски и от беладонны. Кстати, в прошлом году один серб в баре „Сигаль“ всю ночь требовал коньяку и глаз Диди. Утром, когда бар закрыли, он крикнул: „а у нас в Крагуваеце снег!..“ и застрелился. Если вы женитесь на Диди, она будет пришивать пуговицы и готовить яичницу. Это — первосортная хозяйка. Она будет притом петь. А когда Диди поет — старики и те лезут целоваться. Женитесь! Это не так трудно устроить. У нее вместо рта копилка. Я возьму деньги у господина Пике. К слову будь сказано, он вовсе не фиолетовый. Однако я все-таки возьму у него деньги. Вы бросите в отверстие копилки былые подвиги и десять асигнаций.

Юр прервал меня:

— Вы что, с ума сошли? Или смеетесь надо мною? Я не люблю птиц. Я не собираюсь жениться. Просто на меня плохо действует здешний климат. Это вроде болотной лихорадки. Но я скоро уеду, и тогда, тогда вы увидите — все сразу пройдет.

Я саркастически изогнулся, превратившись на одну минуту в дешевенького Мефистофеля, который торгует болотными звездами и нарисованными глазами. Кто устоит перед подобной витриной? Души, да, именно души выкладываете на прилавок кассы, уважаемые граждане — другая валюта здесь хождения не имеет!

— А Диди? Как же Диди?..

— Дурак! Разве моя командировка этого требует?..

Взбешенный, он не стал со мной больше беседовать. Куплен или не куплен названный товар, осталось невыясненным. Уходя, он дал мне большой желтый конверт, тщательно запечатанный — „сохраните“. Что в нем? Документы или младенческая душа? Куда он ушел — укладывать скромные пожитки в потрепанный чемодан или же глушить печаль коньяком среди окаянного реквиема десяти негров?

В смущении подошел я к окошку. Я призывал зиму, снег, холодильник честности и успокоительный абрис замерзающего на посту тулупа. Но улица обдала меня влажным жаром политого асфальта и заплаканных щек. Внизу сновали тысячи лунатиков, притягиваемые электрическими иероглифами и расширенными зрачками. Они не шагали, но плыли среди огней, гвоздик и франков. Зеленый шар дежурной аптеки обливал их ядовитыми кислотами и Летой. За стойками бритые барманы взби-

вали щемящие душу коктейли и яичную неврастению. Толпа ползла медленно, как гусеница. Полицейский комиссариат регистрировал преступления. Льда же нигде не было. Весь лед давно уже проглотили безумцы, изнывающие от ревности или от изжоги. Лед был только в морге, добрый крепкий лед, запасенный заботливыми домоводами. Он ограждал трупы от разложения и во всем городе только трупы выглядели хорошо, приличные, честные трупы.

Это, кажется, шляпа Юра?.. Теневое множество быстро вобрало его в себя. Он плыл. Куда? В бар? В аптеку? Или в морг?

КАК В ФИЛЬМЕ

Я спешу внести необходимую поправку. Как ни была велика моя отчужденность от гусеничных потягиваний всех этих фланеров или бродяг, недопомогание, последовавшее за визитом Юра, может быть с известной натяжкой названо запоздалой ревностью. Чувства сказывались прежде всего в физической тошноте. Так Пильняк описывает любовь — прыщавую, наспех и в полной амуниции. Еще мне хотелось сравнить это со студнем, с папкой, с плевательницами. Вполне возможно, что Юр читал при этом законы о разводе, она же восторгалась. Нет, лучше Диди — там, по крайней мере, такса и система — знаменитая машина, которая чудодейственно превращает глупо хрюкающих поросят в серебряные колбасы, полные фисташек и фантазии. Я согласен, как сын господина Пике, жить с куклой, искусственно улыбаться, открывать и закрывать глаза. Но почему она пахнет потом? Почему она плачет в темных углах? Почему у нее

синеглазая Эдди? Дешевые „номера“, где не успевают между двумя постояльцами перестелить белье — вот ее сердце. Может быть, Юр в темноте сошел за Муссолини?

Я понимал теперь Луиджи: восторженность пухленькой немки действительно обременительна. Здесь необходима строгая диета — муж и поваренная книга. Не то от сердцебиения рвутся все петли лифчика, а экспрессионистические авторы начинают всерьез описывать духовное вознесение взбитых сливок и самого гуся с капустой.

Убийца многих сотен баранов, я хотел теперь расправиться с любовью. Я подталкивал ее. Я кричал „э-э!“. Любовь, однако, упиралась. Хитрая, она и не думала декламировать, она не ссылалась на Данте и не требовала кадильниц, — нет, ее простая житейская защита была достойна мелкого дельца в нарсуде. Чем она хуже других? Не следует пугаться заглавий. Любовь — так любовь. Занимаются же другие любительским радиотелефоном или коллекционированием марок. Я сам увлекался щелканьем кодака и квадратами головоломок. Жизнь проходит на крутых склонах — здесь любая зацепка, кустик или пола пиджака, и та может спасти от случайного самоубийства. Как желудок, сердце натошак ноет, оно требует заполнения. На иронические улыбки исправный филателист может ответить: „знаете ли вы деления циферблата и меру

человеческой выносливости?“. О, тишина комнаты ночью, ритм походки веснушчатого клерка, кукование безгнездного сердца, оскал скуки — чем огрядиться от вас? Давайте же клеить марки! Давайте собирать идиотические ракушки! Давайте любить, любить медленно и блудя все церемонии, плача, ревнуя, строча стихи, любить как Данте или как Луиджи!

Так была оправдана эта старая хипесница. Сойдя со скамьи подсудимых, она сразу стала командовать. Я влюблен в Паули? Очень хорошо. Теперь остается только побриться. Если тупое лезвие сдерет кожу, рубиновые капли напомнят о силе чувств. Побрился? Ритуальные вздохи и бульвар Гарибальди.

Паули не показала мне Эдди. Зато я увидел ее глаза, жалкие и назойливые, как растравленные язвы профессионального нищего. Здесь не было пристойных зевков первого акта. Она меня не спросила, как я поживаю, даже не предложила мне присесть. Я пришел от печали и от безделия, пришел убить вечер, чтобы он не убил меня огнями и одиночеством, пришел поволочиться, повздыхать, может быть, задушевно поговорить о детстве, может быть, и подхалтурить, как Юр. Я попал на пожар. Моя влюбленность и мои ноги были сразу учтены как подмога!

— Приведите его!

Конечно, обладай я службой, твердыми убеждениями, настоящей любовью, легко было бы уклониться. Почему я должен заниматься сводничеством? Ищите сами, сударыня. Существуют телефоны и пневматическая почта. Я не проволока. У меня как никак сердце, в котором живет собственная любовь. Я ревную. Я даже возмущен. И так далее. Словом, предлогов для отвода было множество, но я ими не воспользовался. Я был слишком пуст и грустен, чтобы сопротивляться. Я подчинился Паули, шептавшей „приведите“, как я подчинился Луиджи, кричавшему „нажми“. Это была магнетическая сила зрачков, широких и бессмысленных, зрачков одичавшей кошки, еще влияние температуры, автобусов, тумана, дней, бед.

Забыв в мастерской Паули шляпу и достоинство, я отправился разыскивать Юра. Я бежал, толкая прохожих и не успевая перевести дыхания. Широкоглазая Паули с противным шарфом и с невыносимой нежностью умирала на бульваре Гарибальди. Я бежал к Юру как в аптеку, где сонный провизор на крохотных весах отвешивает спасение. И хоть это не фильма Гриффитса, а только хрѳлика моих унылых дней, вы, конечно, догадываетесь — Юра не оказалось дома. Я присел на скамью и развернул вечернюю газету. В штате Миссисиппи линчевали негра и негр по каблю кричал: „мне больно!“. Датский астроном открыл новую звезду.

Крем „секрет вечной молодости“ продавался неизменно повсюду. Но где же Юр?..

Началась глупая погоня по проклятому лабиринту парижских улиц. Кого я искал? Существовал ли Юр на самом деле? Или я охотился в черных тупиках, в электрических дебрях за носатой тенью, рожденной случайным скрещением чужой шляпы и моих наивных надежд? Я искал его всюду. Я очутился в каком-то огромном корпусе. Движущиеся лестницы тащили меня вверх. Я барахтался среди лент, среди клейких спин и загадочных надписей: „Саламандра горит шесть месяцев и дается в рассрочку“, „Сегодня остатки крепа-жоржет“. Я проваливался в черные люки, Парафиновая вдова обрызгивала меня из пульверизатора духами, которые пахли месячным окладом и химией. Тщетно я искал выхода — ленты и двери повторялись в сотнях зеркал. Юра не было, но всюду был я, без шляпы, с космами взбитых волос и с губой, отвисшей от отчаяния. Мы заполняли весь дом.

Наконец, ко мне подошел сухой и ревностный призрак.

— Богатый выбор наилучших подтяжек по семь франков девяносто пять.

Агент господина Пике растягивал змеиные тела „наилучших“. Он любезно скрипел позвонками. Мне удалось кое-как уйти от него. А улицы про-

должались. Их было недопустимо много. Мне казалось, что они повторяются, как мое отображение в зеркалах. Еще больше было людей. При чем все они чрезвычайно напоминали или Юра или Паули. Я кричал мужчинам: „вернитесь к ней“. Женщин я обнадеживал: „он скоро вернется“. Счастливые парочки на мгновение успокаивали меня — они нашли друг друга. Но тогда мнимый Юр неожиданно терял нос, и мне улыбался средневековый костяк сифилитика. Предполагаемые Паули меняли шляпы и возраст. Здесь были девочки, с любопытством заглядывающие в прорехи баров, путающие спряжения глаголов и ног, были старухи, которые едва сгибали колени, ноющие от ревматизма и от страсти, с морщинами, засыпаемыми пудрой как могилы земель, с именами, полными поэзии и нафталина: „тант Аделаида“ или „кузина Иоланта“. Здесь были румяна, тушь, шиньоны, подвязки, колье и крем, разумеется, крем — „секрет вечной молодости“. Парочки ныряли в прохладные и ры ресторанов и гостиниц, где звяканье тарелок или скрип матрацов повторяли терцины Данте о любви, о той любви, что „управляет движением звезд“. И электрические звезды двигались. Они дслали все. Они обеспечивали будущее вечерними курсами стенографии. Они же вставляли искусственные челюсти. Звездная метель безумствовала. Я то-и-дело закрывал глаза. Но тогда выступали

звуки — автомобилей, радиоприемников, уличных зазывателей, проституток. Мне вручали счастье из американского золота и меня приглашали к бедной козе. Шатры Туниса обещали финики и танец живота. Неопрятные манжеты и военная медаль клялись положить меня на кровать покойного короля Великобритании. Спившиеся Офелии запросто требовали участия и папирос. Я ускорял шаг. Улицы продолжались. Юра не было.

Я начал обыскивать бары и рестораны. Мне показывали карточки, в них значились шампанское, моллюски, тушенная капуста. Черные грумы нагло смеялись надо мной. Они быстро вращали зеркальные двери, и я бился в летучей клетке. Начались танцы. Меня сбивали с ног, опутывали серпантинном, обстреливали бумажными ядрами. Джаз-банд издавал рык и топот. Это в штабе Миссисиппи линчевали негра, и душа линчуемого, тонкая и хрупкая, как побег пальмы, пискливо жаловалась через саксофон. Где-то в углу били девочку. Где-то грызли соленый миндаль. „Я люблю Поля Морана и тибетские танцы“, сказал один. „Доллар сегодня двадцать четыре восемьдесят“, ответил другой. „Факир спит уже тридцать второй день“. „Дайте мне скорее соды, не то я испачкаю скатерть!“ Это было в тридцатом или в сотом кабаке. Я рукавом вытирал лоб и бежал дальше. Металлическая сопелка рыдала.

Я пробовал вырваться из этой чаши огней, бемольных поцелуев и пробок в рыжую пустыню окраин, дышащих семейными раздорами и жареной картошкой. Каскетки бильярдным кием прокалывали сердце бубновой дамы, которая в жизни знает только одно — чистит зубы патентованной пастой „Лео“. Масло дорожало на семь су. С маслянистых локтей кабатчицы падали лицемерные слезы. Плач негра здесь становился простонародным, его повторяла даже шарманка, эта старуха, брюзжащая о былой любви и о былой дешевизне. Юра не было ни в колодах карт, ни в темных залах кинематографа, где роговые очки прыгали по небоскребам, его не было ни в женских зрачках, ни в витринах, его не было нигде.

Я больше никого не искал. Я убегал от неизвестных преследователей: от шляп, от вывесок, от фокстротов. Полицейские недоверчиво оглядывали меня, а звезды кичились миллиардами километров — они были еще недоступнее, чем бары и чем зрачки. Наконец, мне показалось, что я нашел лазейку. Пустые ступени широкой лестницы уводили наверх. Однако тотчас же я услышал чужие шаги, сухие, как шелк „ремингтона“. Я оглянулся. За мной бежали костыли. Я попробовал улизнуть. Едва дыша взобрался я наверх. Бездомные собаки лизали призрачный сахар собора Сакре-Кэр. Они выли. Кроме них выла скрипка, и, купая осторожные

усики в теплой пене пива, приказчики средних лет танцевали „яву“. Внизу потея метался, оранжевый от золота, от крови и от огней, вымышленный город. Я глотал горячий пар и задыхался. Костыли все же нагнали меня.

— ...Тридцать две различные позы за четыре франка, и отравленный газами герой войны...

Когда я бежал вниз, позади еще щелкало палисандровое дерево и сухое горе. Тридцать две позы множились, они выпирали из освещенных окон. Прошло немало времени, пока я добрал до Сены. Как ни в чем не бывало, она качала идилические баржи и луну. Если багры полицейских искали утопленника, то и это могло сойти за рыбную ловлю. Я залез под мост. Там пахло прошлым столетием и испражнениями. Верлен подвыпив декламировал стихи, а умиленные пискари требовали удочки. Но и здесь плотная тень подступила ко мне. Непомерно длинная шея и пятнистые лохмотья напоминали жираффа. Это существо должно было лизать зеленую муть быков.

Я ждал брани или побоев, как святотатец, нарушивший сон мумии. Но тень запела. Да, она именно запела, голосом ржавым и зловещим, как скрип церковных дверей:

— „Здесь ча-а-асы, проходят как минуты“...

Тогда я не выдержал, я сел на кучу мусора, обнял свои колени и заплакал,

Товарища Юра я нашел только утром. Его кровать не была смята. Он сидел в шляпе и со мной не поздоровался. Я не стал его допрашивать. Я ведь не верил больше в магический фильтр окошка. Я знал, что всю ночь он тоже метался по черному и невыносимо яркому лабиринту, догоняя тень в лайковых перчатках, тень, которая пахла фиалками и копила ренту. Его просьба показалась мне простой и естественной, как „дайте прикурить“.

— Мне нужны деньги.

Я дал ему четыреста двадцать франков, полученные от господина Пике.

— Мало. Она хочет пять тысяч. Возьмите у Пике или у Луиджи, все равно у кого. Но скорее!..

— Хорошо. Я попытаюсь. У Луиджи вряд ли удастся — он фантаст, но он хитер как торговец кораллами. У Пике легче. Если нажать ту вещицу, совсем легко. Я достану вам пять тысяч. Я ведь теперь не живу. Я только выполняю чужие приказания и курю папиросы. Кстати, Паули приказала мне достать вас.

— К черту! Какая Паули? Ах, та!.. Пусть и не думает. Я ее видеть не могу. Вы, что же, сводником сделались?

— Да. Сводником. Убийцей. Вором. А главное тенью.

— Слушайте, достаньте мне пять тысяч. У нее...
Я перебил его:

— Да, да, я знаю. У нее вместо рта копилка и глаза смерти. Я скоро нажму ту вещицу. Но возьмите ваш конверт. При такого рода занятиях неудобно носить на себе чужие тайны. Может быть, в нем какие-нибудь документы?..

— Документы?

Юр очень громко, неестественно, скажу: отвратительно, засмеялся. Он разорвал конверт и вынул обыкновенную ученическую тетрадку с метрической системой на обложке. Приняв патетическую позу провинциального памятника, он прочел мне стихи, нелепые, задушевные и вдоволь пошлые о „багровой заре“, о гибели „желтого дракона из Амстердама“, стихи, посвященные некоей „комсомолке, другу и товарищу Тане“. Читал он по-актерски, завывая, останавливаясь, чтобы переждать слезы и аплодисменты, руками пояśnia различные глаголы. А прочитав он в бешенстве стал рвать тетрадь и швырять в меня клочки бумаги. Презрение сказалось также в неожиданном переходе на „ты“.

— А ты-то!.. Ты даже погибнуть как следует не умеешь! Так только, вибрируешь..

Я взглянул на него. Уже не было ни крови, ни цвета волос, ни движения губ. Большая белая тень мучительно билась под чердачным оконцем. Плачьте, товарищ Таня, — Юр погибает. Я знаю эту отчужденность — он обречен. А я? Надо мной некому, плакать, и старая тень, шнырявшая под мостом, не помянет меня в своих ночных завываниях.

НЕЧТО ЛАБОРАТОРНОЕ

Отчет Паули был краток. Я опустил все патетические мелочи ночи: подтяжки, костыли, „песню песней“ под мостом, разорванную тетрадку. Я ограничился наиболее существенным — он не придет. Он никогда не придет. Следует искать другого — Муссолини, меня, первую тень, которая, когда зажгут фонари, покажется на бульваре Гарибальди, тень строительного подрядчика или ревербера. Я ожидал истерики. Я держал наготове стакан воды и заботливое сердце. К моему удивлению, Паули спокойно меня выслушала. Она даже улыбалась. С видом озабоченным, однако беспечным, она предложила мне:

— Хотите выйти со мной? Мне нужно купить макароны и керосин для „примуса“.

Только позднее я смог оценить природу этой улыбки, румянца нежных припухлостей, переносной горючести намеченных покупок. Горячий вечер входил в поры. Лавочник принял нас за нежных.

супругов, и это, на-ряду с макаронами, еще усугубило интимность. Юр наверное погибал в баре „Сигаль“. По всей справедливости я мог занять его место, тем паче, что и мне оставалось жить два, самое большее три дня, потом — господин Пике, геометрия, выстрел, пять тысяч и последняя свежесть гигантской бритвы в руках церемонного цирюльника Третьей Республики. Я честно разыскивал Юра. Я сделал все, чтобы привести его на бульвар Гарибальди. Кто же упрекнет меня в предательстве? Я только дублирую зазнавшегося премьера, я — несчастный суфлер, если не ламповщик. Притом мотыльки передвигаются быстро. Вчера Паули шептала „приведите“, в точности повторяя судорогу и задыхания золотой рыбки, выплеснутой мною на ковер. А сегодня? Сегодня она премило улыбается, она разрешает мне жать ее пухлую ручку, она покупает макароны. Словом, сегодня белый флажок таксомотора приподнят („свободен“).

Мы прошли на бульвар Пастер, так как Паули вспомнила, что ей нужно зайти в комиссариат. Я благословил какую-то регистрацию — она удлиняла нашу идиллию, шопот каштанов, жар руки. О Юре мы больше не говорили. Он был изгнан из нашего щебетания, как дурной сон или как встречные похороны. Шла лихорадочная подготовка дальнейшего — недомолвки, намеки, выра-

зительные паузы. Ведь на этот раз я никак не хотел ограничиться нежностью в кафэ и умильными воспоминаниями. Только у двери участка Паули неожиданно спросила меня:

— Так он не придет?

Я не понял, что это — надежда или опасение? Почему оливковая шляпа, за которой я гнался всю ночь, вновь встала между нами?

— Нет, Паули, он не придет. Он никогда не придет.

Паули поднялась наверх, а я остался ждать ее, мечтательно скрестив руки, под красным фонарем, как бы налитым кровью избиваемых арестантов. Нечего говорить, ворота полицейского комиссариата малоподходящее место для любовных вздохов. Территориальное уныние быстро овладело мною. До чего похожи друг на друга все участки мира! Как слезы и как чернила, они не знают ни градусов климата, ни политических переворотов. Жизнь в них идет напрямик, без стихов и без цветочных подкшошений. Это голизна, не условная голизна кафэ-шантана, но иная, общей бани, с ее эпическим паром и с жалкими мозолями. Подбитый глаз, горящий среди ночи и зелени, гласит: здесь заверяют подписи и здесь уничтожают душу. Вспомните хотя бы запах комиссариата, попытайтесь определить его. Что это? Сапожная мазь? Бумажная труха? Кровь? Пот? Блевотина? Да, все это и еще многое другое.

Вернее всего сказать, — так пахнет жизнь, так пахнет она не в романах, где искусные авторы стараются запасами парфюмерии перекричать зловонное дыхание своих героев, нет, так она пахнет наяву, в моих днях и в ваших.

Вот этим-то запахом пришлось мне дышать, ожидая Паули. Влюбленность вновь подвергалась тяжелому испытанию. Я стал проклинать регистрацию. Лучше было бы ограничиться макаронами. Подъехавший грузовик принял очередной улов — семь или восемь проституток. Заметив меня, одна из них успела подобрать высоко юбку и показать бедро, розовое и нежизненное как резина. Старуха, может быть, „тант Аделаида“, нюхала табак и чихала. Полицейский угрюмо подталкивал скромную девушку, еще чуждую профессиональному безразличию подруг, которой грузовик казался не то гильотиной, не то адом. Это напоминало бойни Ла-Виллетт, и я меланхолично повторил „э-э!“. До меня дошли обрывки разговоров:

— Тот, из „Либерте“ подарил мне шесть шиллингов и триппер...

— Когда такая желтая луна, всегда случается несчастье...

Грузовик отъехал. Прошло еще минут десять. Наконец, показалась и Паули. Наши руки вновь сплелись, несмотря на зной и подаренную комиссариатом тошноту. Начав известную работу, мы ее

честно выполняли. Дальнейшее было неизбежным, хоть его никто не желал, ни я, ни Паули. Говоря „никто“, я, конечно, лгу. Этого хотела скука, распорядок дней, привычки, может быть, даже разбавленные водой чернила и красный огонек комиссариата. Будучи героями, мы играли во всей этой инсценировке весьма несамостоятельную роль. Впрочем, я не настаиваю на исключительности подобных состояний. Разве не является любой день сцепкой произвольных процессов? Кисточка, мялящая щеки, перо или долото движутся сами собой. Не по человеческой воле рождаются бумаги, дома и дети. Мы были оба свободны и печальны. Рука привычным жестом искала другую руку. Губы, как старые клячи, твердо знали дорогу к другим губам. Грузовик с восемью девицами затонул в абрикосовом тумане, а стихи Альфреда Мюссе гнили в книжных складах. Возраст и час позволяли действовать без обиняков.

С усмешкой вспоминаю я теперь лирический дуэт, исполненный нами. Право же, это было достойно провинциальной эстрады. Мы сразу обнаружили духоту, как будто вчера и позавчера не было душно, как будто вне духоты были бы мыслимы Луиджи, Юр и Пике! Следующей музыкальной фразой явился вздох о природе, о свежести политых цветников, о стволах ольхи, среди которых без голов и без ног значится только рука,

обнимающая женскую талию. После этого уже легко было разыскать остановку загородного трамвая, сказать друг другу, что мы едем „только погулять“, приехав подыскать тотчас же подходящую гостиницу с тенистыми беседками и над бутылкой теплого пива открыть период сентиментальных поцелуев. Кругом нас, отделенные чахлым плющом и не менее чахлыми биографиями, чужие тени описывали однородные орбиты. Щеглы в подвешенных стилах ради клетках переваривали коноплю и музыкально икали. Их голоса легко смешивались с воздухом, волнуемым многими губами. Зеленоватое стекло пивных бутылок и муть обесмысленных зрачков, содружно поблескивали среди ночи. Общность множества судеб успокаивала, как в дни мобилизаций или стихийных бедствий. Прилагательные „милый“ или „дорогая“ уничтожали пестроту имен. Все диктовалось обстановкой, и когда в беседку втерлась луна, сделавшая окончательно призрачными опаловые плечи Паули, я мысленно поблагодарил хозяйку, заправившую во время светило — она действительно заботилась обо всем.

Мы играли нескверно. Мы сохранили лирическое смущение, персядя из беседки в комнату. Скрип ключа показался нам трогательным нападением старого друга. Я прославлял родинки и общность душ. Быстро Паули наложила на меня какой-то милый ей образ — Муссолини или Юра,

От чего моя впалая, достаточно чахлая грудь стала, разумеется, „мужественной“. При чем оба мы прекрасно понимали лживость любой фразы, любого движения. Это, однако, не мешало нам. Мы ведь не жили, мы честно выполняли чужую жизнь, хорошо запомнив все ремарки предусмотрительного автора. Никакого Юра нет и не было. Я молод, я горячо влюблен. Чувства выражаются впервые в неумелых, но искренних стихах, а выпирающие края старомодного корсета на лопатках хозяйки не что иное, как мифологические крылышки.

Так спокойно, в меру задушевно и в меру деловито мы любили друг друга. Напряжение создавало то колбы и весы лаборатории, то точность алгебраических формул. Я слегка опасался, что неосторожное движение Паули может разрушить всю композицию. Ведь фокус найден, окрестные рефлекторы создают нужное освещение. Отсюда родились в минуту, которую я назову наиболее ответственной, бессвязные с виду слова, несколько озадачившие мою партнершу:

— ...Спокойно — снимаю...

После чего, успокоенный занавесом и темнотой, я лег на спину, закрыл глаза и уже, не играя, всерьез захотел умереть, умереть здесь, в игрушечной комнате, под луной, созданной хозяйкой и пригородным горем. Но у смерти свои замашки, она не терпит парадных подъездов и открытых

настежь сердец. Мне ведь предстояла еще ночь с Пике, мне предстояло... Впрочем, я еще тогда не знал, что́ предстоит мне. Я только лежал грустный и неподвижный, продолжая, если не жить, то дышать. Из этого состояния меня вывела Паули. Скажите, почему существует на свете любовь? Я говорю не о беседках, не о щеглах, даже не о мифологии. Почему китайские тени и заводные игрушки подвержены каким-то странным заболеваниям? Аппендицит ведь вырезают. В школах преподают логику. А любовь...

— Ты знаешь, зачем я ходила в комиссариат? Ты думаешь насчет паспорта? Нет, я должна была отомстить ему. Я не хочу, чтобы он целовал Диди! У Диди потное тело, и она пахнет мускусом. Я сказала комиссару, что он шпион, важный шпион, что он хочет выкрасть военные планы. Теперь его схватят, ему отрежут голову. Посмотрим, как он тогда будет целовать Диди...

Я ничего не ответил ей. Я не мог ни возмущаться, ни осуждать. Гримасы теней больше не удивляли меня. Пусть Юру отрежут голову — зачем ему голова? В сумасшедшем лабиринте улиц остались его сердце и клочки милой тетрадки. Пусть Паули лежит и плачет. Я не верю слезам. Я тоже плакал под зеленым мостом. Слезы ничего не выражают. Это как дождь осенью. Паули со мной? Что я целовал? Резиновые губы? Или противный

шарф? Она говорит, что любовь доводит до всего — до предательства, до смерти. Может быть. Но я не знаю, что такое любовь. Теплая пена пивной кружки или несколько условных па в соседнем танцклассе? Господин Пике, бледный и печальный, тоже любил золотую рыбку.

Итак, вы сказали, бесценная Паули, что Юр — шпион. Но ведь вам никто не поверил. Разве вы не заметили, как смеялся старенький писарь? Я тоже смеюсь, громко смеюсь. Вы скажете, почему Юр не может быть шпионом? Потому, что он бегал по улицам, как я, без сердца и без шляпы, потому что его вовсе нет, он выдуман. Да и вас нет. Как же я могу верить вашим слезам?

Нет, я ничего не сказал Паули. Я только тихо встал и подошел к раковине. Всю ночь я мылся в маленьком ржавом тазу, который пах мыльной сиренью и железом, мылся задумчиво и педантично, под шелканье щелчков, под лягушечьи серенады незамирающих поцелуев. А когда в окошко бесцеремонно ворвался мой главный мучитель — рыжес, простоволосое, дубастое солнце, я подошел к плакавшей по-прежнему Паули и тупо сказал:

— А Эдди?.. Не смей трогать Эдди!

СНОВА МЕНА

Была минута некоторого успокоения — наконец-то я встретился с господином Пике при благоприятных обстоятельствах. Отделенный от меня наивной фантазией третьеразрядного автора и огнями рампы, он вел себя, как подобает председателю „Лиги“. Совращение бедной девушки, сестры отравленного газами рабочего, было много вразумительнее, нежели геометрия или золотая рыбка. Я искренно негодовал. Не будь рядом со мной Луиджи, я, может быть, пустил бы в ход черную вещицу. Но фантаст твердо знал факты и адреса. Станный фантаст, он не доверял ни гриму, ни слезам. Он даже шептал мне, что эти слезы сделаны из глицерина. Правда, когда лакеи господина Пике вывели обиженного брата, он крикнул „негодяй“. Но как только взрыв утрированного кашля и пестрый от реклам занавес сразили отравленного газами героя, фантаст поспешил рассмеяться. От

недавнего преступления оставались лишь аплодисменты и липкая нуга, всучаемая назойливыми капельдинершами.

Луиджи воспользовался антрактом, чтобы выпить стакан грога, а также, чтобы допросить меня вновь о далеко не героических похождениях скульптора Загера. Он был туп и взыскателен, как чикагский контр-метр или как славянская совесть. Говоря откровенно, я его боялся. Я юлил и ерзал, превращаясь в школьника, не приготовившего уроки. Об откровенном признании нечего было и думать. Рыбка стыдливо скрылась среди звяканья рюмок и трубочного дыма. Мне пришлось выдумать какого-то сыщика, внимательно следившего за мной, особенно за руками. Я даже не мог вынуть портсигар. Луиджи милостиво простил меня. Он сообщил мне о новом плане. В четверг. Бар „Сплендид“ на площади Пигалль. Диди приведет туда Пике. Там креолка Джили в лучших ее номерах. Там я смогу выполнить все беспрепятственно.

Четверг. Сегодня вторник. Следовательно, остается два дня. Близость конца придала мне смелости. Вас, может быть, удивит, почему я не сделал этого прежде? Меня же удивляет, как я решился задать трезвый вопрос вымыслу, собирателю окурков, губастому сну, который рисовал вензеля, расхваливал соски и управлял баром, я, тоже шаткий и отсутствующий, случайно не стертый резин-

кой зари и не подобранный сомнамбулическим мусорщиком. Нас окружали пропадающие в дыму газовые рожки и едкое дыхание нагретого спирта.

— ...Я только спрашиваю. Пойми, я не отказываюсь. Я сделаю все. Я помню „Лигу“ и Дуарнез. Я помню, как он сегодня хихикал, выталкивая отравленного газами. Рыбка не в счет. Его следует убить, хотя бы потому, что у него слишком много теней. Они загромаждают мир. Они пьют нефть и кровь. Все это ясно и просто. Но скажи мне — почему я? Почему не этот отравленный газами? Он ведь знает, что значит нефть. И он к тому же потерял сестру. Почему не синяя блуза, которая сосала нугу и аплодировала? Почему?.. Почему, и это самое непонятное, почему не ты, Луиджи?

Должен сказать, что вопрос мой прежде всего удивил самого Луиджи. Он втянул голову и приподнял руки, как будто его обыскивали. Видимо, он никогда об этом не думал. Ответил он мне не сразу. Несколько раз подымалась бутылка с ромом. Летали на пол окурки. Дрожал туманный свет. Бар пустел, чахоточный герой готовился к выходу и глицериновые слезы уже блестели на ресницах совращенной сестры. А я все еще ждал разгадки. Я ждал, что Луиджи ударит меня или заплачет. Но зной, но дым, но сон, густой и клейкий как нуга сон, родили иное. Ответ был неожидан и не-

выносим. Мы менялись ролями. В пустом баре с меня сдирали не только пиджак, но и кожу. При проверке под розовой оболочкой ничего не оказалось, кроме лирической пустоты и проглоченного грога.

Почему не он? Да потому, что он живет. Он любит Италию и пестрые галстуки. У него Паули. Я не знаю, что такое Паули. Это — как опухоль. И это — как весна. А меня вовсе нет. Я подбираю отсутствующие окурки и гоняю поэтических баранов. Если я сейчас исчезну, никто этого не заметит. Я выйду, как табачный дым. Я никого не люблю. Я сам ему в этом признался. Значит я смогу в последний раз съесть телячью голову и деликатно умереть. А он? Он — управляющий баром на улице Шатоден. В субботу он отправляется за город...

Здесь я прервал Луиджи:

— Да, да, я знаю, — там музыкальные щеглы и хозяйка заправляет луну.

Но он меня не слушал.

— Пике хитер. У него недаром сеть универсальных магазинов и списки намеченных жертв. Он обезоруживает лаской. Так расписывают небо перистыми облаками, а женские лица любовью. Ты знаешь, зачем выдумана суббота? Чтобы был понедельник. Я, милый мой, почти что женат. Если ты не видишь сквозь жилет сердца, я покажу тебе фотографическую карточку и счет из красильни. Я могу сегодня пойти к ней, сейчас же, я...

Он долго кричал, все стараясь доказать мне подлинность своего существования. Я не пытался спорить — водевильный характер происходящего скорее веселил меня. Итак, фантаст решительно отказывается от дрожания под фонарями. Что же, тогда я попробую заняться этим томительным ремеслом. Другого выхода нет. Глупо было бы вернуться к жене, у которой нежная душа и светло-розовая пижама в этом новом облике — без сердца, без записной книжки, без ревности, с погашенной как марка верой и с заряженным чужими руками револьвером. А книги? Книги пишут обладая месячным бюджетом, письменным столом и дисциплинированной фантазией.

Мы, разумеется, опоздали. Судьба несчастной сестры осталась невыясненной. Зато брат видел сон и во сне торжествовала справедливость. Красный шелк рубашки был встречен аплодисментами. Отравленный газами больше не кашлял. Он великодушно простил Пике. Хотя это было сном, Луиджи крикнул: „дай мне его, я с ним расправлюсь!“. Соседи одобрительно замычали. Сон охватывал жирную горячую темноту зрительного зала. Слышен был ангелический шелест афиш. Но потом актер проснулся. Господин Пике снова хихикал. Тогда, вопреки всем расчетам Луиджи, отравленный газами пронзил себя ножом, да, да, не господина Пике, — себя. Я не мог этого вынести. Я отвернулся. Мое

якобы несуществующее, сердце учащенно билось, и красная краска, употребляемая честным режиссером этого окраинного театрала, могла легко замарать и мою рубашку. С удовлетворением я заметил, что сидящая рядом молоденькая девушка, модистка или белошвейка сострадательно сморкается. Вежливо и в то же время взволнованно я сказал ей:

— Спасибо, сударыня, спасибо.

Каково же было мое удивление, когда все они выбежали на авансцену, все, и господин Пике, и брат и сестра и даже красная рубаха, чтобы исполнить совместно сентиментальные и скабрёзные куплеты о любви в Фонтенэ-о-Роз. О, конечно, туда ходят трамваи! Пойте же, пойте, вас купят как щеглов и вам дадут конопляное семя! Да здравствуют чистое искусство и святая любовь!

Спрятав в сумочку мокрый платок, моя соседка не стала дожидаться субботы и луны — она прилежно целовалась с клетчатой каскеткой. Луиджи бодро насвистывал. Его недавние слова, очевидно, являлись не только философским аргументом — он и вправду намеревался свернуть на бульвар Гарибальди.

Сегодня — вторник, четверг — послезавтра. Мне подарены два дня и новый титул „фантаста“. За что? Скажите, за что? Я не отравлен газами, но я много страдал. Я узнал сполна человеческую

злобу, а кто скажет, что злоба легче синильной кислоты? Если я даже призрак, это вы виноваты, вы все. Вы украли у меня будничное провинциальное счастье и нормальную теплоту в 37 градусов по Цельсию. Не пробуйте отнекиваться — кто же кроме вас мог расхитить по мелочам надежды, губы, слезы и пальцы? Ведь я жил. Я любил жену, лохматых собак и стихи. Вы мне ничего не оставили, кроме семи су на трамвай и горя.

Я негодовал. Я ненавидел запрудившую выход толпу, фонари и Луиджи. Сильнее всего я ненавидел Луиджи. Не за то, что он идет к Паули. Я хорошо помнил рыженький таз. Нет, за то, что ему не захочется мыться, что он будет в лад щеглам целоваться и в лад всему миру дышать. Я ненавидел его за проклятую встречу у остановки автобусов, за мену, за мену, в которой я прогадал. Он вышел живым. А я... Чтобы как-нибудь отомстить ему, я сказал, прощаясь:

— Кстати, а ты убежден, что Паули существует?

Как видите, это была абстрактная месть. Но не так понял меня Луиджи. Его губы задрожали. Задрожала и тень на асфальте.

— Ты, может быть, солгал мне? Ее вчера ночью не было дома. Я искал ее повсюду. Я искал ее всю ночь напролет.

Удовлетворенный, я заметил:

— Нельзя искать тень. Тогда предлагают под-
тажки и жираффы поют под мостом.

Но он добивался иного ответа.

— Может быть, она была с тобой? Тогда к чор-
ту Пике! Я убью тебя здесь же, на месте.

— Будь рассудительным, Луиджи. Час тому на-
зад ты уверял меня, что я не существую. Как же
я мог похитить Паули?

Это ему понравилось. Он благодушно и пре-
небрежительно рассмеялся.

— Ты прав. Хоть у Паули бывают причуды,
но она никогда не сможет увлечься клоуном. Ты
мог бы зарабатывать в цирке большие деньги.
Впрочем, теперь не стоит. До четверга осталось
недолго. Но Паули.. У кого же могла быть Паули?
Она говорит, что у подруги, но я ей не верю.
Днем я ей верил, а сейчас не верю. Слушай, ска-
жи твоему русскому, чтобы он мне не попадался
на глаза. У него отвратительный нос. А когда
я сказал об этом Паули, Паули рассердилась. Если
я увижу его, кто знает... Ведь нажать эту штуку
очень просто.

И хотя я думал иначе, я не стал спорить.
Я остался один, и я не знал, куда мне идти. Вдруг
в толпе я заметил еще блестящие глаза моей со-
седки, которая, как и я, не могла вынести торже-
ства господина Пике. Я забыл финальный смех
и поцелуи. Я помнил только мокрый платочек. Здесь

я найду толику сочувствия, несколько банальных и трогательных слов, может быть, слез. Они дадут мне силы прожить до четверга. Приподняв церемонно шляпу, я подошел к ней.

— Еще раз спасибо вам за то, что вы плакали. Вы, может быть, не знаете, чего стоят ваши слезы. Они важнее всех переворотов и вссх обид.

Тогда вынырнула клетчатая каскетка:

— Прошу вас, сударь, не приставать к чужой даме.

Девушка вступилась за меня:

— Не волнуйся, Южень, это, вероятно, один из актеров, который благодарит в моем лице публику. Вы, право, хорошо играли. Я плакала, как овца. А потом вы очень весело пели. Я так смеялась, я так смеялась... Вы наредкость веселый актер.

Я еще раз снял шляпу и поспешил согласиться.

ЛЕТО 1925 ГОДА

Вне этого сейчас тихо и темно. Километры идут за века. Можно легко представить себе, как молча вызревает пшеница и молча же умирают люди, среди звезд и пилюль. Немота степной ночи с ее доброхимом невыведенным сусликом вместо бога, движется на сердце, как некая орда. Борясь с норд-вестом, пузатые суда несут очередной груз зерна и тоски. Лозы на полях Шампани, вдоволь унавоженных подвигами и испражнениями, наливаются бешенством, и золотая злоба уже стреляет пробками. Ананасовыми консервами и мускусом негров пахнет тропическая гниль двух дюжин республик. Глухи и темны штреки рурских шахт, где полуголые забойщики отбивают у скаредной земли чужое черное счастье.

Да, разумеется, мир велик! О породах деревьев, а их тысячи, хорошо знают ботаники. Что касается человеческого горя, то это тема для романов. Бел-

летристы исправно выменивают его на славу и на бессонницу.

Где я был? Через что прошел? Слабеют мышцы. Далекі воспоминания. И никому нет дела до меня: ни друзьям, ни полицейским, ни статистике. Я один.

Дуговые лампы падают, поднимаются. Красная шрапнель кружится над каскеткой. Караулят прожекторы, и один луч, невыносимо пронзительный, несется прямо на меня, касается, слепит, уничтожает. Я вспоминаю рыжую глину траншей. Я зову санитаря — уберите меня! Разве вы не видите, что я уже выбыл из строя? Меня следует спешно эвакуировать в ночь. Но мнимый санитар язвительно улыбается. Он думает иначе. Он думает, что мне необходимо поглядеть оперетту „Только не в губы“. Другой уверяет, что я создан для „Дохлой крысы“, для се первоклассного джаз-банды и умеренных цен. Световое наступление продолжается. Огненный шторм взрывает площадь Пигаль. Он срывает шляпы и добродетель. Я задыхаюсь от бензина и от косметической смерти. Проворовавшиеся кассиры и дочери почтенных, но бедных профессоров кротко открывают газовые краны. Счета стыдливо сгибаются, чтобы не было видно цифр. Они оплачиваются статьями кодекса и стрихнином.

Как в подвалах Государственного Банка — золото, здесь собран свет, весь свет темной Европы, украденные лампы разорившихся адвокатов, лучины

трансильванских пастухов, чадные факелы шахтеров, глаза обманутых девушек, поэтическое вдохновение и антрацит Силезии. Там, в темноте окрестных улиц начинается черновой быт с выревыванием пшеницы и с прожиточным минимумом.

Как глупая Паули, я лечу на эти огни. Жалка среди трагического фейерверка моя сутулая спина и моя петитная биография. Поглядите со стороны — окруженная светом тень мечется как пойманная крыса. Она похожа также на летучую мышь. Но это человек. Он принес сюда страдание, излишнее как зубная боль и чужой револьвер. В баре „Сплендид“ уже ждет его, известный вам, меланхолик. Он думает об унынии Месопотамии и пьет воду „Виши“. Сейчас эти тени встретятся. Черная вещьца разобьет электрическую лампу и сердце, хрупкое как бокал, в котором плавала золотая рыбка. Тогда нахлынут лакеи и репортеры, чтобы вскоре снова отхлынуть. Паркет посыпят опилками. Новые посетители закажут шампанскос. Поглядите же со стороны — до чего неизбежны жесты и до чего случайна жизнь!

Собравшись с силами, я стойко взошел на это баснословное ауто - да - фэ. Господина Пике еще не было. Ни публика, ни лакеи не подозревали, чем страшна эта ночь. Меня принимали за кутящего счетовода, и в поданный мне коктейль явно входило презрение. Напитки изготовлял китаец с фио-

летовыми веками и с девическими руками профессионального палача. Я думаю, что он знал нирванну и умел хорошо сажать людей на кол. Он тщательно отмерял настойки всех цветов радуги, дары апостольских монастырей и горной флоры. Зелень мяты зло враждовала с золотом святого Бенедикта. Зелья взбивались, подогревались, замораживались. Они подготавливали танцы и преступления. Китаец глядел на бокалы и на потолок. К человеческим судьбам он был безучастен. Мудрость Конфуция и рецепты коктейлей создавали иноматериковос отторжение.

Стоит ли говорить о публике? Разумеется, аргентинский сутенер, смуглый и влажный, как фармацевтическая пьявка, высасывал из разбогатевшей привратницы материнскую нежность и чек на предъявителя. Разумеется, чигагский скотовод осторожно проверял товар, закупая очередную партию античных форм и классического жара — m-lle Фифи или m-lle Бебетт, с бюстом из Луврского музея и с душой от портного Пуаре. Разумеется, присутствовал и русский „prince“, его широчайшие жесты измерялись десятинами бывших вотчин, а стекло он бил трагически и в кредит. Имелись и молокосос студентик, стянувший у маман горделивый поцелуй, а у папа предохранительные средства, и кастильские шулера, поэты педерасты, частные сыщики, профессиональные танцоры, — словом, тщательный

подбор призраков в манишках и в лифтах, готовых принять из девических рук китайца десятифранковую смерть. Напрасно их разыскивать в адресных столах или в глубинах сердца. Днем они вовсе отсутствуют. Они прячутся, как клопы, в щелях разносортных отелей или же в томиках космополитических романов. Зарево площади Пигаль, чьи отсветы лижут мир, вплоть до взбитых белков Лапландии и до пены Атлантики, притягивает сюда эту утомительную мошкарку. Дивен свет и мажорно гремят барабаны, но воскресни Тютчев, он бы снял очки, вытер бы помутневшие стеклышки и воскликнул бы: „вот он, божий гнев, прекрасная малярия, озноб лживой лазури и самоубийств“.

А впрочем, довольно эстетики, литературных справок и этнографических описаний. О публике, право же, не стоит говорить. Необходимо упомянуть лишь об одной парочке, затененной колесиковыми пальмами и тягостными событиями предшествующих глав. Не только зеркала — совесть следила за мной. В укромном углу губастый фантаст и его трепещущая подруга втягивали сквозь соломинки коктейль и часы. Как и я, они ждали развязки. Дрожание губ продолжалось. Оно избавляло меня от последних раздумий. Все было ясно, как в этом чересчур освещенном баре. Сейчас придет господин Пике. Я не должен убивать его. Я его убью. Слюнявый идиот унаследует сеть универсаль-

ных магазинов и меланхолию. Юр опустит в роковую копилку пять ассигнаций. Мой повелитель повезет Паули к щеглам и к луне. А мне церемонно отрежут голову, оплакав ее предварительно, с помощью парикмахерского пульверизатора. Наверху, над асфальтом площади Конкорд, над ее восклицательным обелиском, над самой Эйфелевой башней, как в старых сказках, будет летать крохотная Эдди с обязательной слюнявкой и с ангелической тоской. О чем же мне было думать? Я взял стакан, полный желтой мудрости, и жадно опустошил его.

Господин Пике сильно запоздал. Может быть, он завел новую рыбку? Или осложнения в Марокко потребовали серьезной консультации? Стаканы повторялись. Китайские пытки сказывались хотя бы в трагическом ритме танцующих. Здесь больше не было ни чсков, ни десятинок, ни профилактики. Без труда опознал я на лице кассирши, с зловещим звоном отпускавшей счета, водянистую улыбку, по гимназии знакомого, Харона. Тени вспоминали прошлую жизнь и в такт содрогались. Здесь была отдача детских игр — лапты или пятнашек, первой влюбленности, самодовольного галопа, парадов, курьерских поездов, повседневной трусцы служилого дня, выпивок, болезней, одутловатой походки уже пятого — шестого десятка, наконец, агонии. При посмертной проверке все эти движения оказывались однородными. Жизнь сводилась к нескольким про-

стейшим па. Косный мир физиологически сокращался оплакиваемый чахоточными музыкантами, ублюдками литовского или галицийского гетто, из тех, что перепродают ломбардные квитанции и за ночь выдумывают бога. В характере музыки не приходилось сомневаться: фокстрот оплакивал землю, не традиционную горсть, кидаемую на похоронах, даже не Монмартр или Калифорнию, но звезду, вероятно, третьей величины, одинокую до слез, до страха, которая описывает свои арестантские круги.

Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду, в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом?.. А потом мы лежали в жиже окопов и вместо масляничных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от сыпняка или от „испанки“, строили новый мир и по мелочам спекулировали. Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир иодоформом и тюрьмой. Тогда — простите нас, мы

только слабые люди, несчастное поколенье, случайно затесавшесся среди исторических дат, — тогда мы вовсе перестали верить. Мы начали дуть в саксофоны, водить плечами и медной мелочью остающихся лет оплачивать дикие иллюминации. О, это не танец, и только шопотом можно говорить о всемирной тоске вульгарнейшего фокстрота, среди падающих министерств, бродячих вдов и дуговых ламп!

Не двигаясь с места, я выполнял все предписанные фигуры. Я как бы прижимал к себе Паули, повторяя при этом незамысловатую формулу провинциального фотографа. Я видел, как Юр и Диди бьются в падучей, ногами отшвыривая пробки, ренту и убеждения. Господин Пике уныло агонизировал. Дым и неизвестность мешали мне разглядеть, кто его партнерша: нефть или рыбка?

Я ждал господина Пике. Вместо него пришел Юр. Он был давно переведен мною из спасителей в разряд мелких свидетелей. Поэтому, увидав развенчанный нос, я только рассеянно зевнул.

— Пике еще не пришел. Но он обязательно придет. Он придет с Диди. Тогда я здесь же все закончу. Вы получите пять тысяч и глаза птицы. Если вас спросят, как очевидца, молчите. Помните Харьков и морозный цирк. Я не хочу, чтобы глаза, плакавшие над Жанной, снова увлажнились. Романы с продолжением — прескучная вещь.

Юр резко прервал меня:

— Бросьте! Я сам не понимаю, что со мной было. Климат? Или то самое? Все равно. Теперь это прошло. Мне не нужны деньги. Я потерял четыре дня. Меня следует за это подвергнуть высылке. Но я счастлив — ведь я мог потерять всю жизнь.

— Юр, что вы говорите?.. Вы не смеете быть счастливым! Вы разорвали синюю тетрадку и вы шли в морг. Я не позволю вам разыгрывать живого человека. Выпейте лучше коктейль. Ведь сейчас появится ночная птица. Она будет петь о старом мэре.

— Я знаю, что она придет. Я хочу с ней проститься.

Я рассмеялся — можно ли проститься с собственным вымыслом? Как будто Диди — это женщина, которой шлют открытки и машут платочком. Диди пахнет химическими фиалками. Она живет здесь — я показал на левый карман жилета. Далек и от поэзии и от анатомии, я все же знал, что именно здесь квартируют мои невыносимые друзья: губастый фантаст и председатель „Лиги“.

— Здесь...

Юр вынул небольшой кусочек картона. Я увидел нечто бесконечно нелепое — железнодорожный билет до Москвы. Здесь начинался бред. Милый товарищ, ведь мы уже вручили монсту нашей мо-

лодости этому тощему перевозчику. Представьте себе — тщательно замороженный труп встает, зачесывает гладко волосы, поправляет галстук и тихо выходит из морга. Сторож, ничего не подозревая, крепко спит. В кармане у замороженного бумажник, с документами, с деньгами, с билетом. Судя по паспорту, „особых примет не имеется“, ведь по-смертное состояние и приобретенная в холодильнике гусиная кожа вряд ли являются таковыми. Труп в коридоре вагона закуривает папиросу, смотрит в окно на коров и на водокачки, любопытствует: „а сколько здесь стоит поезд? а сколько здесь?..“. Молча предъявляет он таможенному чиновнику две смены белья и эмалированный чайник. Он, кажется, радуется родным обычаям. Он пьет чай, горячий чай. Вы не умилены? — он делает все, чтобы сойти за живого. Оттаявшее мясо таит, однако, коварные замыслы. Молодая попутчица неожиданно отворачивается и нюхает одеколон. Купе постепенно пустеет. Кондуктор отчаянно дрожит и выпрыгивает в окошко. За ним — пассажиры, прямо на коров и на водокачку. Теперь поезд пуст. Только в одном купе зеленоватая тень с погасшей папироской несется неведомо куда, среди ночи и зноя, косая, одинокая, как сумасшедший диктатор. Пожалейте ее! Поверните скорее тормоз! Похороните ее под водокачкой, чтобы коровы жевали память и клевер!

— Вы хотите ехать в Москву? Но как вы встретитесь с товарищем Таней? Она ведь сознательная и не верит в привидения. Она, чего доброго, позовет милицию.

— Я еду завтра. Это — через Себеж и через так называемую „любовь“. Это отсюда три дня и вся жизнь. Там нет химических фиалок. Там Zubовский бульвар пахнет антоновкой и частушками. Я забуду слова: „Диди“, „коктейль“, „морг“. Я услышу „братву“ и „рабкоров“.

— Юр, вы видите, как Паули смотрит на вас? Они караулят. Юр, мне жалко вас. Я хотел достать вам пять тысяч. Я готов сделать все, чтобы вы слышали запах антоновских яблок. Но четыре глаза под коленкоровой пальмой не выпустят нас отсюда.

Юр ласково похлопал меня по плечу.

— Ерунда! Вы здесь совсем развинулись. Я вас теперь понимаю. — если бегать по этим улицам, можно и вправду сойти с ума, хотя бы от рекламы и от раскрашенного воска. Оставьте Пике. Его нет. Вы его сочинили. Вы его выдумали, как книгу. Поедем в Москву. Я вам покажу подсолнечники и стенные газеты. Там вы быстро вылечитесь. Вот тогда-то вы напишете настоящий роман: о том, как шумит орешник, о том, как смеется товарищ Таня, о том, как хороша жизнь взаправду, молодая, глупая, честная жизнь.

— Юр, они смотрят на вас! Вы никуда не уедете. Когда я выглянул в окошко отеля, вы шли прямо в морг. Почему вы так побледнели? Не следует ждать Диди. Это злой персонаж кабацкой трагедии. Вы не верите мне? Вы улыбаетесь? Что ж, если вы можете, бегите, бегите на вокзал! Только скорее!..

Он не послушался меня. Впрочем, он и не мог уйти. Пока я метался в тревоге, мотылек расправил крылья своего невыносимого шарфа и, описав несколько судорожных дуг, повис над Юром. Что заставило Паули пренебречь недобрым колыханьем ревнивого фантаста — нежность, месть или безнадежность? Ее приход был непонятен и страшен. Юр привстал! Я же преглупо протянул ей стакан с коктейлем: „скол“. Женщина, однако, молчала. Танцы окрест продолжались. Это была инерция давних, доисторических чувств. Ничто не могло уже остановить жалобы саксофона и механическую тряску плеч. Я попробовал заговорить:

— Паули, не нужно звать полицию! Зачем тебе Юр? У тебя, ведь, щеглы в беседке. Опомнись, Паули! Тогда в кафэ ты плакала от ласки и от хлеба. Пожалей же Юра! Он разорвал синюю тетрадку. А у тебя Эдди. Ты слышишь — у тебя Эдди!..

Паули молчала, все так же напряженно и необъяснимо глядя на Юра. Тогда раздался голос, столь

трогательный в своей человечности, что я не сразу понял, откуда он исходит. Среди автомобильных фанфарад и граммофонных вмешательств я ведь успел отвыкнуть от теплых звуков живых существ. Это говорил Юр. Никогда прежде он не говорил так. Куда девались и самоуверенность цирка „Муссури“ и суетливое заиканье Парижа? Он говорил столь голо, столь бесхитростно, что от восторга и от срама я закрыл глаза — можно ли было вынести, среди качающихся манексенов и китайского формуляра, простоту этого вихластого мальчика, который через ночь и миры неуклюже искал загорелую руку какой-то Тани, перепачканную лесной малиной или чернильным карандашом конспектов?

— Простите меня. Я тогда еще не знал, что это такое. Я тогда ничего не знал... А теперь мне стыдно и больно. Милая Паули, когда завтра...

Я не расслышал конца этой фразы — ряд внезапных событий скрыл от меня, что именно будет завтра и будет ли оно. Мой стакан упал на пол и жалко по-бараньему заблеял. Грум почтительно изогнулся, при чем его белые зубы на черноте лица и ночи обозначились как площадки приветственной иллюминации. Смокинг господина Пике, скрывавший Марокко и минеральную воду, казался траурным. Диди держала куклу, несчастную куклу, облитую слюной и слезами сентиментального идиота. Да, я не ошибся, определив ее назначение — в неесте-

ственной широте зрачков, в духоте запахов, в блаженном облике куклы, закрывавшей и открывавшей фарфоровые диски, была развязка балаганных пантомим и сумасшедшего лета.

Послушливо рука моя отправилась в брючный карман. Я могу сказать, что в баре „Сплендид“ меня больше не было. Известные нервные центры распорядились дряблыми мускулами. А господин Пике уныло смотрел в зеркала, полные романтического света и страдающих манишек. Мою руку задержала рука Луиджи:

— Дай мне! Я сам...

Выстрел сначала показался нотой фокстрота. Еще в течение нескольких секунд ноги танцующих продолжали сокращаться. Господин Пике стоял как и прежде, безразлично ныряя в зеркальную глубь. Его грудные запонки блестели как слезы. Юр закачался, сделал несколько шагов в сторону двери, нет, в сторону антоновских яблок и бедной Тани, а потом грузно упал на ковер. Из приоткрытого детски рта сочилась кровь. Тогда зрачки Диди еще сильнее раскрылись. Она могла запеть сейчас свои бесстыдные куплеты о старом мэре, могла и показать обезумевшим танцорам средневековую косу, которая наверное хоронилась под скрипучим шелком пелерины.

Я смутно помню, как Юр сказал „напишите“. как синие кепи увели куда-то фантаста, который

кричал: „Уберите труп в морг! Я не хочу, чтобы Паули его целовала!..“, как среди диванов и бутылок содовой бился сожженный, наконец-то, мотылек.

Музыкальный убудок снова задул в трубу. Иллюзорная жизнь возобновлялась. Я хотел отклонить ее, но беспощадный грум вывел меня на непогасающий костер площади Пигаль. Тогда я кинулся к пылавшей витрине. За стеклом наивный человек жил и улыбался. Его не трогали ни мой плач, ни угрозы. В ярости я разбил стекло. Я схватил его за шею, но голова легко отделилась от туловища, и голова продолжала гадко улыбаться. А человек стоял, как ни в чем не бывало. На его груди горели бриллиантовые слезы, под ними значилось: „Новинка. Лето 1925 года“.

В комиссариате, куда меня привели, я старался сохранять спокойствие. Я только сухо заявил дежурному:

— Занесите в протокол, что вы — предатель. Вы предатель, как и он. Я не могу жить с восковыми подбородками и с пиджаками. Здесь был один живой человек, и вы его убили. Да, да, я видел кровь. А вы? Вы даже не полицейский. Вы — лето 25-го года.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Выходку пьяного буяна никто не подумал связать с традиционным убийством „на почве ревности“. В переполненных до отказа вагонах метрополитена, склеенные потом и утренней неврастеньей, служащие „Лионского Кредита“ могли любоваться портретами моего фантаста. Его губы были размножены ротационными машинами газет „Matin“ и „Journal“. Они дрожали во всех ресторанах и на всех базарах. До половины двенадцатого Луиджи был королем этого душного города, наравне с королевой Джозефиной Бэкер и с уличными мороженщиками. Его осуждали бородатые консержки, брезгливо крича холостым шалопаям и лучам солнца: „следует вытирать ноги“. Загипнотизированные щелканьем клавиш и мистикой букв, малокровные машинистки в него влюблялись. Его обстоятельно допрашивал важный следователь с камнями в печени и с белоснежной совестью. В поло-

вине двенадцатого из Сены извлекли дорожную корзину с мелко-изрубленным трупом старухи и с гнилыми яблоками. Луиджи тотчас же был отдан забвению, густому и приторному, как коктейль китаецца.

Я не удостоился даже мимолетного внимания. Мои жалобы на противозаконные подделки живых существ были отнесены за счет спирта. Кулаки полицейских наивно попробовали доказать мне реальность мира. В общей камере я давил клопов и подытоживал жизнь, среди прыщеватых сутенеров и неудачных мечтателей, которые продают порнографические карточки или примеривают чужие канотье. Я не справился ни с насекомыми, ни с жизнью: меня вывели на улицу. Отвыкший от солнечного света, я зажмурил глаза, натолкнулся на фонарь и сказал ему, со всей вежливостью проученного скандалиста, „простите“.

Потом я быстро затрусил по чресечур светлым улицам. Мне казалось, что за мною гонятся восковые снобы с площади Пигаль. Город, может быть, в душе и разделял мою тревогу, но он прикидывался вполне здоровым. Люди ели зеленые бобы и любили Мэри Пикфорд. На мелкие перебои никто не обращал внимания. Кто же мог взволноваться, узнав, что в магазине „Самаритен“ дамы, спешно закупавшие остатки модной материи „каша“, случайно раздавили незаконнорожденного ангела,

или что на фабрике точных инструментов Кросса рабочий Дюбуа внезапно ослеп и воскликнул „занавес“! Меня не искали. Я затерялся в жизни, как эти мелкие трагедии в сорока столбцах газет.

Что мне было делать? Вот я свободен — черная вещица заключена в шкаф следователя, и календарь уже предсказывает близкий конец лета. Счесть все происшедшее за гадкий сон и, отправившись на Монпарнас, заявить старым собутыльникам: „Ну, как дела? Работаете? А я видите ли собирал материал для новой книги“? Честность удерживала меня. Чем отличается Монпарнас от разбитой мною витрины? Не тем ли, что известные усовершенствования позволяют вдохновенным пиджакам краской покрывать холсты или исписывать листы блокнота? Я не хотел предать одной условности ради другой. Потом я так сжился с моими темными приятелями. Нельзя, однако, довольствоваться воспоминаниями. Требовались какие-то поступки, а я беседовал с фонарями и тосковал в уличных писсуарах. Я не знал, на что мне решиться. Кто-то кого-то убил. Правда, я должен был убить господина Пике, а вместо этого ревнивый Луиджи убил Юра. Но больше я не засуну в карман ту вещицу. Меня предали как тень на экране, когда вспыхивают люстры и зрители затирают выход. Я не имею права ни на третье измерение, ни на человеческую боль.

Пожаловаться мне было некому. Я хорошо знал, как бояться прохожие внезапно останавливающихся глаз. Их быт абстрактен и хрупок, напоминая удачное нагромождение облаков: это — кожаное кресло в рассрочку или фокстрот, оброненный Эйфелевой башней. Стоит мне подойти к ним, как они начнут пугливо ощупывать бумажник и сердце, дрожать, звать глазами ангелов в синих кэпи. Самое большое, на что я могу решиться, это — спросить „который час?“ или папироской припасть к какому-нибудь окурку, дрожащему на отвисшей от недоумения губе. Если же спросить: „отчего вы убили Юра?“ или „кто выдумал господина Пике?“, они покажут метрическое свидетельство обстоятельное и фальшивое, как газетная статья, и снова бросят меня в нумерованную темноту, где клопы и итоги.

В городе с его четырьмя миллионами восьмистами тысячами жителей я не мог подыскать собеседника. Моими адвокатами были только фонари. Больше всего я боялся обиходной мудрости и проекционных аппаратов. Ведь множество дверей раскрыто настежь. В церкви Трините, среди воска и вздохов, нежный скопец объяснял, за кого следует голосовать на муниципальных выборах. В Сорбонне популярно излагали новую теорию эмбрионов. На митингах одни были за инфляцию, другие решительно против. Сострадательные американцы обучали неимущих фокстроту. Небо ежевечерне

клялось, что единственное спасение в бесконечности миров, а афиши уличной уборной обожествляли некоего доктора с бульвара Себастополь, который исцеляет все недуги. Я не поддавался. Грубая фальсификация даже смешила меня. Остановившись возле редакции „Эко де Пари“, я стал читать наклеенную на щиты газету. В Сюрени убит в связи с забастовкой молодой слесарь Пьер Дюран. Преступники не обнаружены. Неужели? А рыбка?.. Скажите мне, она еще плавает, золотая рыбка несчастного меланхолика? Пьер Дюран, у вас были белые зубы, кисет для табаку и убеждения. Вы умерли потому, что господин Пике затравлен суккой и тенями на стенах кабинета. Или вас тоже не было, Пьер Дюран? Может быть, вас выдумали для парламентских прений? Отзовитесь! Он молчал. Зато говорил Луиджи. Почтенный управляющий баром на улице Шатоден исполнял теперь арию из Кармен. Вместо цветка он прижимал к груди шарф Паули. Дюссельдорфские соски выдавались за лионские. Оказывается, он убил в лице Юра „врага Франции“. Bravo, фантаст! Я громко смеялся. Швейцар предложил мне уйти, но я не мог оторваться от этого назидательного чтения. В отделе „Уголок Искусства“ значилось: „скульптор Загер, выставивший в „Салоне Тюльери“ стеклянную рыбу, награжден орденом „Почетного Легиона“. Я ответил наглому швейцару:

— Не прикасайтесь ко мне! Я знаю, что вы не уважаете отчаянья. Но вы обязаны уважать „Почетный Легион“. Я награжден министром Изыщных Искусств. Пусть убит Дюран — у него был только один кисет. Пусть слюнявый идиот любит глупую куклу. Есть, сударь, искусство! Уныние Пике, кровь Юра, парад мертвецов, будь то на берегах Соммы или в баре „Сплендид“ — всю пустоту и весь звон этого мира я, если угодно — Загер, выразил в рыбе, в стеклянной рыбе, которая плавает над городом, как чудовищный дирижабль.

Эта последняя попытка сформулировать тревогу закончилась, разумеется, неудачно. Швейцар, твердо зная, что почетные ленточки не водятся на протертых пиджаках, грубыми пинками заставил меня уйти восвояси. Я испытывал сильную усталость. У меня не было ни денег, ни ночлега. Машинально побрел я в отель „Монте - Карло“, к моему голубоглазому маршалу. Надо же было куда-нибудь итти. Я ждал, что хозяйка повторит жест швейцара, и немало удивился ее приветливой улыбке.

— Ах, это вы?.. Я уж тревожилась, не захворали ли вы. Ведь восемь дней, как вы ушли.

— Да, кажется, восемь. Болен? Вероятно, болен.

— Для вас два письма, одно денежное.

Вот почему она улыбалась! Но откуда деньги? Пожалуй, это не мне, а уважаемому скульптору Загеру. Ведь никто не знает, что я живу здесь. Издательство „Прибой“. Откуда же они узнали адрес? Может быть, от Юра? „Уважаемый товарищ“... Я снова подозрительно оглядел конверт — мне ли это? „Трубка коммунара“. Две тысячи франков. Спасибо, граждане, спасибо!

Я должен был радоваться. Но я не радовался. Зачем мне деньги? Купить восковую красавицу? Пойти в бар „Сплendid“? Или же чинно просуществовать несколько недель, философствуя над жарким и над звездами? Я тупо отбивался от мух и от предстоящего. Нехотя разорвал я второй конверт. Это было письмо от Паули.

Хозяйка должна была изумиться, как может больной так резво бегать, пропуская по две ступеньки винтовой лестницы. Я, кажется, пробежал мимо оскорбившего меня швейцара. Что же, и он мог подумать: вот так философ, вот так уныние! Ведь я размахивал руками и смеялся. Я успел похлопать по спине лохматого пса, который меланхолично ловил звезды. Я успел даже понюхать пучок левкоев на тележке усатой и презлющей торговки, при чем я так улыбнулся, что, несмотря на усы и на дороговизну жизни, она ласково пробасила:

— Что же, нюхайте.

Я улыбался решительно всем: гордым шофферам, вывескам, столь часто мучившим меня, даже огням, даже знойной ночи. Ведь в письме Паули были только два слова: „Возьми Эдди“.

Я плохо помню деловую сторону встречи. Радость заслонила все, вплоть до красной струйки и приоткрытого наивно рта. Видите ли, Паули говорила о спасении Луиджи. Этот ревнивый шарлатан успел уже превратиться в страдающего героя. Рисковать жизнью ради любви! Паули могла теперь кичиться перед всеми машинистками мира: губастое клише газеты „Matin“ дрожит ради нее. Как она не замечала прежде, что Луиджи стоит самого Муссолини? Теперь надо (замечательное „надо“ — помните — купить керосин или пойти в полицию) теперь надо спасти Луиджи. Адвокаты, свидетели, франки. Эдди? Эдди только мешает.

— Ты права, Паули. Отдай мне ее. Хотя бы на время. Ей будет у меня хорошо. Я теперь разбогател. Мы уедем из Парижа. Потом, когда его оправдают, я верну тебе Эдди. А если ты не захочешь, я оставляю ее у себя. У тебя, наверное, будет новая Эдди. Нет, не Эдди, а Биче или Беппо.

— Ах!..

Паули кокетливо покраснела.

Я взял Эдди на руки. Я крепко прижал ее к моему сердцу и сердце в ответ забилося. Так

я выздоровел. От радости я прыгал по большой и темной мастерской.

— Мы будем жить вместе, Эдди. Мы уедем от этих гадких кукол. Здесь сердце, как сыр под стеклянным колпаком. Здесь вместо рук перчатки. Мы уедем к траве и к собакам. Там много светляков — они как звезды и как леденцы. Я куплю тебе шоколадного негра. У собак шершавый язык от любви. Мы можем сейчас взять луну и сделать из нее мячик. Я даже думаю, что луна была мячиком, только негр закинул ее на крышу. Эдди, скажи мне, что ты хочешь?..

— Сделай из луны шоколадную собаку. Только большую. Ты сам собака. У тебя шерсть. Но ты не лаешь. Ты добрая собака.

И Эдди меня поцеловала.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ГОРЕ

Я не знаю, что сказать мне о трех неделях человеческого счастья. Легко описывать тревогу, боль, или раскаяние, изъяны сердца, они тяжелы и точны, как любое выявление нашей косной природы. Но беспредметна радость. Тщетно язык, этот раб чванливого разума, ищет для нее слова. Может быть, когда-нибудь люди и достигнут невыразимого ныне совершенства. Я говорю не о машинах — о сердцах. Тогда любовь прорвет покров понятности, как прорывает бабочка фабричную труху кокона. Поэты сожгут словари и не в зримом мире найдет художник модель. Сокровеннейшее искусство — музыка будет выражать тогда абсолют радости, ибо радость, как солнце или как смерть, не допускает дробления. Но далеко это время. Жалко чирикают в клетках щеглы, а никому не нужные поэты умирают в кооперативах. Я знаю одного — его стихи, его глаза — порука, что не лживы мои

слова о грядущей свободе. Должны же быть шаги хоть на несколько миль опережающие наши. Да, будь здесь, среди низких олив, смеха Эдди Борис Пастернак, он смог бы рассказать вам об этих трех неделях. Но не мне, на линованных страничках тетрадки, ползкими как рептилии придаточными определять природу бессмысленных звуков и светлых прыжков. Нет, лучше не будем говорить о радости!

В одном признаюсь — слова Эдди оказались не только нежными, но и мудрыми. Я чувствовал, что действительно превращаюсь в собаку, которая, ласково ворча, вычесывая блох или от восторга катаясь на спине под крупными осенними звездами просто, по-дворянчески кладет свою кудластую псиную душу за бедное человеческое счастье.

От солнца и от козьего молока Эдди быстро поправилась. Ее глаза теперь перестали недоумевать. Они радовались. Эта радость рождалась от запаха лаванды на крутых холмах, от плеска средиземных волн, которые, баюкая Эдди, укачивали тысячное поколение богов и коз, может быть, и от моего добродушного лая, когда я удивлялся: „почему ты, Эдди смеешься?“, а сам смеялся.

Мы жили в маленькой рыбацкой хижине. Я разводил огонь и варил макароны. Охраняли нас, колючие, как проволока, кактусы и наша чуждая людям радость. Я как-то сразу постарел, но эта

старость была легкой. Погасив ненужные страсти, она принесла свободу. Я узнал, как хорошо жить без тщеславных помыслов и без обязательного притворства. Прошлое, будь-то писание романов или же одинокое маячение по призрачным улицам Парижа, казалось мне невнятным, как чужой и плохо пересказанный сон. Я научился штопать белье Эдди и курить трубку, ни о чем не думая. Это не было отупением. Нет, бездумье горело, как полдень на взморье, когда дрожит воздух, молчит вода, молчат цикады, а туго натянутая струна человеческого сердца звенит от переизбытка жизни, еще от близости смерти.

Много ли нужно для человеческого счастья? Солнце, четыре или пять квадратных метров, макарон и любовь. Однако нам завидовали. Улыбки не сходят даром. Они прощаются только богатым туристам и посетителям кинематографов. Нелепая радость какого-то чудака с трубкой и с девочкой раздражала наших соседей. Они не понимали, почему я улыбаюсь, и это оскорбляло их. Вначале они еще пробовали меня допрашивать. Я был слишком счастлив, чтобы обижаться. Я вежливо кланялся встречным крестьянам и заранее благодарил их. За что? За солнце, за цикад, за жизнь. Я не понимал, что эти любезные приветствия — только ловкие приемы лазутчиков. Так было установлено, что я русский, что Эдди — не моя

дочь, что родилась она в Берлине, что я бсден и никогда не хожу в церковь. Это оказалось достаточным, чтобы породить подлинную ненависть. Человек не умеет обрабатывать землю и у него нет ренты, следовательно, это либо уволенный чиновник, либо попросту вор. Кто знает, какие слухи ходили по деревне, не стыдясь ни мечтательных глаз бродячих кошек, ни звездной геральдики мимоз.

Давно, когда я еще жил в Париже и встречался с писателями, как-то пришлось мне обедать вместе с Мак-Орланом. Мы вели профессионально-угрюмый разговор, — вероятно, жаловались на тупость критиков или на алчность издателей. Перечислив такое-то количество обид, мы замолкли. Кругом задорно бренчали стаканы и содержанки лавочников благоухали как садовые клумбы. Тогда невыносимое уныние смежило глаза Мак-Орлана, слабые глаза, замученные резким светом и газетной ясностью.

— Знаете ли вы, Эренбург, что станет с нашей землей, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Я не говорю о кроликах. Кролики, наверное, начнут кусаться. Но даже эта репа делается хищной. Морковь и та будет пытаться выскочить из грядок, чтобы ущемить человеческие икры.

В нашем раю, среди лаванды и коз, оказались люди, те, что голосуют на выборах и зарывают в огород пачки обслюнявленных ассигнаций. Морковь кусалась. Оглушенный выпавшим на мою долю счастьем, я долго не замечал растущей неприязни. Двери нашего домика покрывались гадкими надписями. Булочница отказалась отпускать мне хлеб, насмешливо предлагая сдобные булочки. Мне приходилось теперь каждое утро ходить в соседний поселок. Мы подобрали как-то бездомного котенка, с мокрой от ужаса шерстью и с глазами, расширенными одиночеством. Мог ли я не узнать в его отчаянном мяукании тех сиротливых часов, когда я плакал под зеленым мостом Сены? Он нежно лакал молоко и мурлыканьем старался передать нам всю свою бесхитростную признательность. Он играл мячиком Эдди, как Эдди играла луной. Через три дня он пропал. Он вернулся ночью, отмеченный человеческой злобой. Кто-то остриг ему когти и обрубил хвост. Его шерсть была в крови, а плач как бы говорил: „я теперь все знаю“. Чем я мог его утешить? Повестью о подстреленном Юре или о восковых фигурантах площади Пигаль?

Так настала развязка. Мы шли с Эдди среди ферм и виноградников. Какой-то мальчишка бросил в нас камень. Он промахнулся. Но Эдди села на дорожную пыль и заплакала. Я спросил обидчика:

— Почему ты это сделал?

— Потому что ты убежал из сумасшедшего дома и украл девочку. Да, это все знают — ты крадешь детей.

Я понял, что его натравили на меня взрослые, и темные, как тупики деревенских улиц, люди. Но почему они нас преследуют? Я подошел к толстому фермеру, который совместно с домочадцами и с работниками собирал виноград. Его лицо яркой окраской и зажиточным пафосом напоминало огромную тыкву сельско-хозяйственной выставки. Я снял шляпу и спросил его:

— Почему вы нас преследуете?

Он не удивился, но прежде, чем ответить, аккуратно положил отрезанную гроздь в корзину, смахнул с потной шеи мух и ногой оттолкнул доверчиво тявкавшего щенка.

— Потому что вам здесь не место. Вы не турист. У вас нет земли. У вас ничего нет. Это мы должны спросить вас — почему вы сюда приехали?

Я растерялся. Наивно было представлять себе деревню Лонд департамента Вар мифологическим раем. Что мне ему ответить? Нельзя же среди этих помидоровых щек и лоснящихся от бараньего рагу глаз заговорить о роковом лабиринте парижских улиц, о бешенстве ламп или о заводных манекенах. И без того они думают, что я сумасшедший. Следует усвоить психологию этих существ, знаю-

щих только обкуривание лоз и лимузины анемичных англичанок.

— Я приехал сюда из-за Эдди. Моя девочка больна. У нее рахит. Ей предписаны солнце и море.

Тогда тыква расхоталась. Это очень страшно, когда тыквы хохочут. Фермер смеялся так, как будто, перехитрив соседа, заколов свинью, зарыв в канавку очередную тысячу и ради праздника надев крахмальный воротничок, он полоскал после обеда рот терпкой водкой и родовой руганью. Он смеялся до лиловых пятен и до злых слез.

— Это не ваша девочка. Мы все знаем. Если она умрет, я не буду плакать. Честное слово, я не буду плакать...

Я оглянулся — на дороге плакала перепуганная Эдди. Я бросился к ней. Я хотел защитить ее от этих беспощадных корнеплодов. Фермеру я ничего не ответил. Да он и не ждал ответа. Вдоволь насмеявшись, он принялся за прерванную работу. Нас долго провожали улюлюканье его семьи и цепкий как репейник лай науськанных собак. Эдди билась в слезах. Я взял ее на руки. Я пробовал ее успокоить.

— Мальчик злой. И собаки злые. Ты — собака, а они на тебя лают.

— Эдди, эти собаки не злые. Они лают по обязанности. Их заставляют лаять люди. Люди их заставляют даже кусаться. А у них добрые карие

глаза, и они нежно пахнут псиной. Эдди, мы будем жить без людей. С собаками и с солнцем. Ты видала остров напротив нашего дома? Мы уедем туда. Вы возьмем с собой козу и котенка.

Эдди ничего не ответила. Она спала. Я сел у окна и закурил трубку. С жадностью глядел я на остров, розовый и пепельный в этот час заката. Там, наверное, зайцы, которые не знают, что такое дробь и невинная трава без консервных жестянок. Там мы найдем покой, далеко от лихорадки монмартрских реверберов и от злого мясистого сна обезумевших людей. Я улыбался острову, Эдди и сонливой лодке. Мы уедем туда завтра...

Мы никуда не уехали. Когда я подошел к Эдди, чтобы поправить одеяло, сухой румянец щек и пламя глаз сразу сказали мне все. Бессмысленно я хватал то стакан воды, то теплое одеяло, то деревянного барашка, любимца Эдди, как бы прося у этих вещей помощи. Напряженно старался я вспомнить мое далекое детство с его болезнями, компрессами, микстурами. Что делать? Доктор? Но в Лонде нет доктора. Последний поезд ушел час тому назад. До ближайшего города — шестнадцать километров. Жар и бред говорили, что ждать нельзя. Я побежал к Лубэ. Это был самый богатый винодел Лонда. Каждую пятницу он возил в город виноград на спесиво отлакированном автомобиле. Я знал, что

он сдает машину туристам. Лубэ показал мне бархатный жилет и два глаза, голубые как его небо.

— Триста франков и деньги вперед.

— У меня сейчас нет трехсот франков, Только сто восемьдесят. Возьмите их. Я вам отдам остальные. Я пошлю телеграмму в Москву. Мне вышлют, обязательно вышлют. Только скорее!.. У нее сильный жар.

— Чтоб я поверил какому-то проходимцу!.. Я не повезу вас. Вы слышите, я не повезу вас, даже за все триста франков. Вы — мошенник или цыган.

Он закрыл дверь и угрюмо прикрикнул на меня защелкой.

— Я прошу вас!.. Скорее!..

— Идите! Идите! Не попрошайничайте.

Я обошел всех крестьян. У них были лошади, тележки, седла, ослы. Они блаженно глядели на меня фарфоровыми глазами, как кукла слюнявого идиота, они качали головой, переступали с ноги на ногу и отрывивали. Одни рекламировали милосердие бога, другие просто советовали подождать до утра. Но никто не повез меня.

Тогда я пошел, вернее я побежал, окруженный невыразимой темнотой южной ночи и злорадным подмигиванием приземистых ферм. Сентябрьское небо как слезами обливалось звездами. Сострадательно скрипела теплая пыль. Может быть, кусты

и запертые в конюшнях лошади жалели меня. Я щупал воздух руками и оступаясь падал в канавы. Я знал одно: впереди медная дощечка „Доктор медицины“, звонок, чье-то лицо и спасение.

Еще не было полночи, когда я пришел в город. Что же, я нашел медную дощечку, даже несколько дощечек. Были и лица, трубки для выслушивания, блоки для рецептов. Но спасения не было. „Завтра с первым поездом“, отвечали мне. А первый поезд отходил в девять двадцать. Глаза, прикрытые стеклышками, казались осмысленными — они ведь ставили диагноз и читали передовицы. Но час спустя я снова бежал по черной долине. Я протягивал руки вперед, но в них не было спасения. Я задыхался, я падал все чаще и чаще — силы изменяли мне. Но я все же бежал, я бежал к Эдди, которая мечется в темной хижине одна с деревянным бараном. Уже не было в домах огней и спали лошади. Только пахла лаванда и билось сердце.

Эдди не узнала меня. Она металась в бреду. Ее закидывали камнями и ей дарили пылающую крапиву. Когда она приходила в себя, страх и недоумение сводили ее лицо в жалкую улыбку общипанного ангела переводной картинки.

— Ты здесь? Ты пришел? Ты опять уйдешь?

Я хотел утешить ее. Я ложился на пол.

— Да, Эдди, я здесь, Твоя старая собака с тобой. Она больше никогда не уйдет. Погляди — она умеет служить и хлопать ушами.

Я старался как мог подражать движениями собаки. Я махал руками, а сердце билось и не было силы сдержать слезы.

— Собака!.. Пойди сюда, собака!..

Он приехал с первым поездом, как обещал. Он принес трубочку для выслушивания и пресловутую свежесть осеннего утра.

— Спасибо, но больше не нужно...

Тогда он снял шляпу и церемонно произнес:

— Примите, сударь, уверение в моем искреннем соболезновании.

Я заплатил ему за визит и пожал его руку в перчатке. Он ушел. Потом он вернулся — это был редкость добросовестный врач.

— Простите меня, но вы очень странно выглядите. Разрешите мне выслушать вас. Может быть, у вас жар?

— У меня, доктор, ничего нет. Неужели вы не знаете, как должен выглядеть человек, у которого больше ничего нет? Вы слышите меня — ничего? . !

ЭПИЛОГ

Долог и черен вечер на этом острове, долог ветер и черна судьба. Не только прожито все, все и записано. Самое страшное начинается, когда я задумываюсь — да полно, было ли это? Может быть, я только поддался тяжелым снам? „Все призрачно, все условно“ — так говорят мне звезды и скрип половиц. „Призрачны восковые тени. Призрачны глаза Эдди. Призрачна и твоя боль“.

Тогда я пытаюсь найти точку опоры. В сотый раз я перечитываю случайно дошедший до меня номер марсельской газеты с подробным описанием судебного разбирательства. Свидетельница госпожа Паули Шаубе? показала, что убитый был большевистским шпионом. Да, да, я помню, как уныло наливался кровью подбитый глаз полицейского комиссара. Далее — адвокат, мэтр Валуа, в блестящей речи подчеркнул, что Юр был „врагом общества и морали“. В Луиджи заговорил герой войны и доб-

рый патриот. О, фантаст, его губы все еще дрожат на столбцах газеты! Разве могут дойти до площади Пигаль слезы курносой Тани и плебейский снег далеких равнин? Луиджи, разумеется, оправдан. Они поженятся. Я так и думал. Они снимут квартиру в три комнаты, они купят зеркальный шкаф, и никто не заподозрит их, никто не догадается, что это только вымысел, подлый и розовый, как поэтическая заря.

Нет, газета не спасает меня. Ее бумажный тенорок лишь подтверждает все неправдоподобие окружающего меня мира. Есть один залог подлинности существования, вздорный и прекрасный, — это деревянный барашек. Я ставлю его перед собой. Я ложусь на пол и вою по-собачьи. Тогда, превозмогая ночь и безверие, доходит до меня живая жизнь. Это умирает Эдди и, умирая, говорит мне: „собака, где же ты?..“.

Жалкое и слабое сердце никогда не отказывается от надежды, это не его вина — так оно сделано. Так сделаны и ваши сердца. Не осуждайте же меня! Когда я говорю „отчаяние“, я не лгу, но невольно ассоциация не звуков — чувств подсказывает мне другое слово — „отчалить“. Тогда я вижу только море и ночь. Я и впрямь отчалил от прежней жизни. Это лето было штормом и горем. Я не вижу земли. Но, как каждый человек, испытавший

крушение и полумертвыми руками еще перебирающий весла шлюпки, я хочу ее увидеть — зеленую, чужую и бесконечно родную землю.

Сегодня я получил телеграмму от жены. Она приедет сюда грустная и ласковая, чтобы увезти меня, в Париж или в Москву. Я боюсь, что она меня не узнает. Столько прошло с того дня, когда белела в окне вагона ее шляпа, а кругом, а во мне уже начиналось это сумасшедшее лето. Что́ я скажу ей? Она прочтет эти страницы, услышит ветер, увидит деревянного барашка. Она положит мне руку на лоб.

— Ты видишь — мы отчалили. Позади остались слова из букв и сердца из воска. Страшен пустой мир, населенный только идеями и одеждой. Но вот оно, спасение, вот он, почти незримый абрис далекой земли — твоя рука, малое тепло, простая любовь. С ней мы попробуем доплыть до того берега.

— Да, мы попробуем...

Август — ноябрь 1925 г.

Le Lavandou — Paris.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Мое запустение	7
Все намечается.	16
Вот чем чреваты праздники.	26
Наедине с маршалом.	38
В связи с насекомыми	46
Чего стыдятся люди	57
Последствия умиленности.	73
Мена	83
В поисках лазейки	94
Под гудки прибывающих и отбывающих	105
Она плавала в маленькой банке.	118
Требовался лед.	130
Как в фильме	139
Нечто лабораторное	150
Снова мена	159
Лето 1925 года	168
Выздоровление.	183
Человеческое счастье, человеческое горе	192
Эпилог	203



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“

Москва, Первомайская ул., Кривоколенный пер., 14

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Новости русской литературы

- Андрей Белый. — Московский чужак. Роман „Москва“ часть I. 256 стр., в переплете. Ц. 1 р. 80 к.
- Его же. — Москва под ударом. Роман „Москва“ часть II. 248 стр., в переплете. Ц. 1 р. 80 к.
- Григорьев. — Коммуна Мар-Мила. Повесть. 132 стр., в переплете. Ц. 1 р.
- Толстой, А. и Щеглов, П. — Азеф. В переплете. Пьеса. Ц. 1 р.
- Триоле, Э. — Земляничка. Роман. 176 стр., в переплете. Ц. 1 р. 50 к.
- Шкловский, В. — Третья фабрика. 144 стр., в переплете. Ц. 1 р.
- Эренбург, И. — Лето 1925 года. 208 стр., в переплете. Ц. 1 р. 50 к.

Новости иностранной литературы

- Барбюс, А. — Насилие. Повести. 196 стр., в переплете. Ц. 1 р. 50 к.
- Пьер Бенуа. — Альберта. Роман. 232 стр., в перепл. Ц. 1 р. 50 к.
- Келлерман, Б. — Два брата. Роман. 320 стр., в переплете. Ц. 1 р. 75 к.
- Собреро, Б. — Знамена и люди. Роман. 248 стр., в переплете. Ц. 1 р. 50 к.

Романы приключений

- Бридж, В. — Человек ни откуда. Роман. 252 стр., в переплете. Ц. 1 р. 60 к.
- Дюмель, П. — Красавица с острова Люлю. 192 стр., в переплете. Ц. 1 р. 25 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРТЕЛИ ПИСАТЕЛЕЙ „КРУГ“

Москва, Первомайская ул., Кривоколенный пер., 14

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

Троцкий, Л.— Дело было в Испании. Записки из дневника. Иллустр. худ. Ротова. Ц. 1 р.

Воронский, А.— Литературные записи. В переплете. Ц. 1 р. 60 к.

Лежнев, А.— Вопросы литературы и критики. Ц. 1 р. 75 к.

ИМЕЕТСЯ НА СКЛАДЕ:

Альманах Круг.— Том V. 232 стр. Ц. 2 р.

„Перевал“ Сборник IV. 176 стр. Ц. 1 р. 75 к.

Барсуков, М.— Мавритания. Роман. Ц. 1 р. 25 к.

Иваков, Вс.— Гафир и Мариам. Повести и рассказы. Ц. 1 р. 75 к.

Каллинигор, И.— Мощи. Роман. Том I. 320 стр. Издание 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

То же. Том II. 360 стр. Издание 2-е. Ц. 2 р.

Козырев, М.— Мистер Бридж. Повесть. С иллюстрациями худ. М. Гетманского. 80 стр. Ц. 75 к.

Малышкин, А.— Падение Даира. Повесть. Издание 2-е. 72 стр. Ц. 35 к.

Маргерит, В.— Преступники. Перевод К. Арсеновой и Э. Гвиниевой. Ц. 1 р. 75 к.

Андрей Соболев.— Записки каторжанина. 112 стр. Ц. 70 к.

Тютчев, Ф. И.— Новые стихотворения. Редакция и примечания Г. Чулкова. 128 стр. Ц. 1 р. 25 к.

С ЗАКАЗАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

Москва, Первомайская ул., Кривоколенный пер., 14
Издательство артели писателей „КРУГ“.

Каталоги высылаются бесплатно.

1 р.50 к.



СКЛАД ИЗДАНИЙ

МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, КРИВОКОЛЕННЫЙ ПЕР., 14